

Оршон



ПАРИЖ
1947

В. Нестушев

Орион

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЮРИЯ
ОДАРЧЕНКО, ВЛАДИМИРА
СМОЛЕНСКОГО И АНАТОЛИЯ
ШАЙКЕВИЧА. ПАРИЖ 1947

Этот номер альманаха О р и о н был отпечатан в типографии Navarre, 11, rue des Cordelières, в феврале 1947 года, в количестве 700 экземпляров, из которых 20 именных и 30 пронумерованных от 21-го до 50-го, на бумаге Offset.

Обложка работы художника В. Н е ш у м о в а.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>Владислав Ходасевич. Посмертное стихотворение</i>	7
<i>Георгий Адамович. Три стихотворения</i>	8
<i>Валериан Дряхлов. Путь</i>	10
<i>Николай Евсеев. Стихотворение</i>	12
<i>Георгий Иванов. Десять стихотворений</i>	13
<i>Дмитрий Кугушев. Два стихотворения</i>	18
<i>Ант. Ладинский. Перед горным пейзажем</i>	19
<i>Сергей Одарченко. Натюр морт</i>	21
<i>Ирина Одоевцева. Семь стихотворений</i>	22
<i>Иван Прилепский. Стихотворение</i>	26
<i>Георгий Раевский. Четыре стихотворения</i>	27
<i>Влад. Смоленский. Восем стихотворений</i>	29
<i>Юрий Софиев. Два стихотворения</i>	33
<i>Николай Туроверов. Шесть восмистиший</i>	34
<i>Иван Бунин. Три рубля. рассказ</i>	36
<i>Гайто Газданов. Ночные дороги — отрывки из романа</i>	41
<i>Борис Зайцев. Уединение. — Из книги «Дни»</i>	60
<i>Юрий Одарченко. Детские страхи. — Повесть</i>	65
<i>Алексей Ремизов. Залом. — Из страд «Сквозь огонь скорбей»</i>	83
<i>Н. Тэффи. Маленькие рассказы</i>	95
<i>Влад. Смоленский. Любовь Тристана и Изольды. Перевод в стихах</i>	100
<i>Нина Берберова. 25 лет смерти А. Блока</i>	108
<i>Александр Гингер. О разновидностях русского пятистопного ямба</i>	113
<i>Владимир Злобин. Как они умерли</i>	118
<i>А. Шайкевич. Петербургская богема, (М. А. Кузмин)</i>	136
<i>Александр Бахрах. Серое и коричневое</i>	145
<i>А. Шайкевич. Мысли о современном балете</i>	157

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ †

To Katherin Hepburn

Нет, не шотландской королевой
Ты умирала для меня:
Иного, памятного дня,
Иного, близкого напева
Ты в сердце оживила след.
Он промелькнул, его уж нет.
Но за минутное господство
Над озаренною душой,
За умиление, за сходство —
Будь счастлива! Господь с тобой.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

I

Он милостыни просит у тебя,
Он — нищий, он протягивает руку.
Улыбкой, взглядом, молча, не любя,
Ответь хоть чемнибудь на эту муку.

А впрочем в муке и блаженство есть.
Поймешь ли ты? — блаженство униженья,
Блаженство слез, речей, ночей, Бог васть
Чего... блаженство утра и прощенья.

II

Ночь... и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,

Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое... пятьдесят

С розами, значит, или без роз
Ночь, — и “о жизни покончен вопрос”.

...И оттого еще более ночь,
Друг не способный любить и помочь,

Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница... ну, что же, я пьян,

Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,

И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнувшей, вечной свечи,

Если сознание — то в глубине,
Если душа — то на самом дне,

Луч беспощадный врезается в тьму:
Жизнь или смерть — все равно одному.

III

В последний раз... О, сердце, нет сомненья,
Это случается в последний раз,
Это — награда за долготерпенье,
Которым жизнь испытывала нас.

Запомни же, как над тобой в апреле
Небо синело всюю синевою,
Солнце сияло, как в ушах звенели
Арфы, сирены, соловьи, прибой.

Запомни все — обиды, безучастье,
Ночь напролет: уйти, увидеть, ждать? —
Чтоб если спросят, что такое счастье,
Как в школе руку первому поднять.

ВАЛЕРИАН ДРЯХЛОВ

ПУТЬ

Серый и не побелеет
и не почернеет наш туман.

Только песни будто бы светлее,
только песни все обман.

Ночью выйдет светлый месяц, —
что ему. . .

Серебро кругом развесит —
ни к чему.

А потом нагрянут тучи
тоже, просто так;

Мысль вползет: "а может лучше
если — мрак".

Что-то тайное твой тонкий
вдруг встревожит слух.

В это время очень громко
закричит петух.

Белым днем услышишь снова
Слабый, ясный звук.

В сердце коромысла золотого
вцепится паук.

А потом тебе приснится
"вещий" сон,

Жизнь как будто прояснится,
но обманет он.

Так и будет всю дорогу
стон и мрак,

Много туч и солнца много,
в поле вспыхнет мак.

А на завтра алый друг твой
венчик опустил

Так спокойно, солнцу будто
смерть свою простил.

Средь тумана тьмы и стонов
плакать погоди,

Света темные законы
— погляди. . .

А потом оставь законы
и “пути”,

Попытайся, если можешь
все-таки итти.

Там в конце Его дороги
на вершине круч

Упадет тебе под ноги
самый светлый луч.

Под лучем земные слезы
дивно прорастут,

А из них на небе розы
пышно расцветут,

Но из сонма совершенных
снежно-нежных роз

Ты уйдешь тогда на землю,
как ушел Христос.

1935

НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВ

Иноходец был резвый, горячий.
Пристяжная еще горячей.
Жизнь казалась сплошною удачей
Средь осенних бегущих полей

И поля за полями мелькали
Будто счастье летело со мной
В голубые зовущие дали,
В белый дом за песчаной рекой.

Был тогда я еще малолетком,
Бесшабашным сорви-головой
И не знал, как огромною клеткой
Встанет мир над казачьей душой.

А душа словно стрепет влюбленный,
Тот, что бьется в калмыцкой петле,
Перепуганный и возмущенный
На апрельской цветущей земле.

1939.

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

(Посв. Дмитрию Кугушеву)

1

Тихим вечером, в тихом саду
Облака отражались в пруду.
Ангел нес в бесконечность звезду
И ее уронил над прудом.

И стоит заколоченный дом
И молчит заболоченный пруд —
Скоро в нем и лягушки умрут.

И лежишь на болотистом дне
Ты, сиявшая мне в вышине.

2

Все неизменно и все изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся — и где эти годы?

Вот я иду по осеннему полю,
Все как всегда и другое чем прежде,
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.

3

А люди? Ну на что мне люди.
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.

Природа. Вот она природа —
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года
Как дребежжанье комара.

Конечно есть и развлечения:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

4

Маятника мерное качанье.
Полночь. Одиночество. Молчанье.

Старые счета перебираю.
Умереть... Да вот не умираю.

Тихо перелистываю "Розы" —
Если-б на цветы да не морозы.

5

Образ полусотворенный,
Шопот недоговоренный,
Полужизнь, полуусталость,
Это все, что мне осталось.

Принимаю, как награду
Тень скользящую по саду,
Переход апреля к маю
Как подарок принимаю.

“Тот блажен, кто забывает” —
Мудрость, хоть и небольшая.
. . . И забвенье наплывает
Биться сердцу не мешая.

6

Она летит, весна чужая,
Она поет, весна.
Она несется, обнажая
Глухие корни сна.

И ты ее, покойник храбрый,
Простишь иль не простишь —
Подхвачен солнечною шваброй,
В канаву полетишь.

И как простить? Она чужая,
Она дитя зимы
Летит, поет уничтожая
Все что любили мы.

7

Синие сумерки этой страны. . .
Всюду куда ни помотришь — снега.
Жизнь положив на весы,
Вижу, что жизнь мне не так дорога

И не страшны мне ночные часы
Или почти не страшны.

Холодно. В сумерках этой страны
Гибнут друзья, торжествуют враги.
Светятся в небе пустом
Белые звезды над черным крестом

И не слышны голоса и шаги
Или почти не слышны.

С бесчеловечною судьбой
 Какой же спор. Какой же бой.
 Все это — наважденье.

. . .Но этот вечер голубой
 Еще мое владенье.

И небо. Красно меж ветвей,
 А по краям жемчужно. . .
 Свистит в сирени соловей,
 Ползет по травке муравей —
 Кому то это нужно.

Пожалуй нужно даже то,
 Что я вдыхаю воздух,
 Что старое мое пальто
 Закатом справа залито,
 А слева тонет в звездах.

В конце концов судьба любая
 Могла бы быть моей судьбой.
 От безразличья погибая
 Гляжу на вечер голубой:

Домишки покосились вправо
 Под нежным натиском веков,
 А дальше тишина и слава
 Весны, заката, облаков.

Как туман на рассвете — чужая душа.
И прохожий в нее заглянул не спеша,
Улыбнулся и дальше пошел.

Было утро какого-то летнего дня,
Солнце встало, шиповник расцвел
Для людей, для тебя, для меня.

Можно вспомнить о Боге и Бога забыть,
Можно душу свою навсегда погубить,
Или душу навеки спасти

Оттого что шиповнику время цвести
И цветущая ветка качнулась в саду,
Где сейчас я с тобою иду.

1944-1945 Биарриц.

ДМИТРИЙ КУГУШЕВ

1

Солнечный луч сквозь закрытые ставни.
Длится еще убегающий сон...
В праздничный день принаряжены парни,
С девками слушают праздничный звон.

Звон колокольный деревню разбудит.
Будет обедня, гулянье, брехня.
Будет закуска и водка, и будет
Отдых воскресного летнего дня.

2

Дальней весны призывая напрасно
Запах пьянящий пьяней вина,
На стрелку часов я смотрю безучастно.
Что ты не придешь — не твоя вина.

Все, что мы любим, хоть на мгновенье,
Та, кого любим — весна, жена... —
Хоть мимолетно, в воображеньи,
Нам изменить ведь хоть раз должна.

В людном кафе одиноко мечтаю
О том, как тонок прозрачный лед.
Ждать мне не скучно, когда я знаю,
Что та, кого жду я — не придет.

АНТ. ЛАДИНСКИЙ

ПЕРЕД ГОРНЫМ ПЕЙЗАЖЕМ

‡

Под звездами и облаками
Стоит высокая гора —
Чистейший снег в альпийской драме,
Тирольского рожка игра.

Ты там живешь! Почти в небесной
Стране из ледников и троп,
Склонив над пропастью телесной
Высокий и прекрасный лоб.

Но хватит ли у нас дыханья
Взойти на эту высоту,
Постичь огромность расстоянья
Двух данных точек на лету?

Теодолит есть глаз науки.
Но цифрам всем наперекор
Ты к счастью простираешь руки,
И я иду на приступ гор.

II

Ты жила, ты любила, ты мирно дышала.
Но над этим физическим счастьем гроза
Как миллионы орлов и орлиц возникала,
И катилась в пространствах вселенной слеза. . .

В той стране возвышались огромные горы,
Там, куда я тебя сквозь бессонницу звал.
Мне казалось, что это органные хоры,
А тебе снились платья и кукольный бал.

В той стране на ветру раздувались рубашки,
Клокотали вулканы и билась душа.
Ты спокойно поставила чайные чашки
И пшеничный нарезала хлеб не спеша.

Я тебе говорил: — О, взгляни на высоты!
О, подумай, какая нас буря несет!
Ты ответила, полная женской заботы:
— Ты дороже мне бурь и прекрасных высот...

Было ясно: в каком-то божественном плане
Разделяют нас горы, пространства, миры.
И в объятых твоих я один, как в тумане
Альпинист у подножья высокой горы.

Париж, 1941.

НАТЮР МОРТ

На столе стакан разбитый,
Скатерть залига вином,
Муха в склянке не допитой,
Бьется жалобно крылом.

Кто-то здесь боролся с верой,
Жил, любил и вновь страдал.
Лист бумаги мутно серый
Мелкий почерк исписал.

Переплет из коленкора,
Недочитанный роман.
Дым рассеется не скоро,
Дым холодный, как туман.

И свеча в бутылке темной
Догорает в тишине,
Отражая свет нескромный,
В незавешенном окне.

Летом солнце всходит рано,
И заря уже близка.
И сочится кровь из раны,
Из усталого виска.

Сияет дорога райская,
Сияет небесный сад,
Гуляют святые угодники,
На райские розы глядят.

Идет Иван Иванович
В люстриновом пиджаке,
С ним рядом Марья Филипповна
С французской книжкой в руке.

Прищурясь на солнце райское,
С улыбкой она говорит:
Ты помнишь, у нас, в Чернигове,
Такой же прелестный вид.

И пахнет совсем по нашему
Брусникою и травой,
Сорвав золотое яблоко,
Кивает он головой.

— Вот мы с тобой и представились,
Дай руку. Не отвечай.
Не верили и не чаяли,
А вот и попали в рай.

Как неподвижна в зеркале луна.
Как будто в зеркало вросла она.

А под луной печальное лицо,
На пальце обручальное кольцо.

В гостинной плачет младшая сестра,
От этой свадьбы ей не ждать добра.

— О чем ты, Ася? Отчего не спишь?
— Ах, Зоя, увези меня в Париж!

За окнами осенний сад шумит,
На чердаке крысиный яд лежит,

Игру разыгрывают две сестры,
Но ни одной не выиграть игры.

На свадьбе пировали, пили мед,
Он тек и тек, не попадая в рот.

Год жизни Зоиндой —
Последний год.

3

В сизом дыму паровоза,
Возле вагонных колес —
Были улыбки и розы,
Не было правды и слез.

Так, в этот час расставанья,
В час умиранья души,
Он говорил: До-свиданья,
Ведь не надолго. Пиши.

Сердце царапают кошки.
Все обещанья — вранье.
Белый платочек в окошке
Делает дело свое.

4

Облокотясь на бархат ложи,
Укутанная в мех и газ,
Она в изнеможеньи дрожи
Со сцены не сводила глаз.

На сцене пели, танцевали
Ее любовь, ее судьбу,
Года и свечи оплывали,
Бесцельно жизнь неслась в трубу

Пока блаженный сумрак сцены
Не озарил пожар сердец
И отблеск счастья. Но измены
Нельзя простить. Всему конец.

Нравоучительно, как в басне:
Любовь кончается бедой.
...Гори, гори звезда и гасни,
Над театральной ерундой.

5

Серебряной ночью, среди шумного бала,
Серебряной ночью, на шумном балу,
Ты веер в волненьи к груди прижимала,
Предчувствуя встречу к добру или злу.

Среди шумного бала, серебряной ночью,
Волшебно и нежно возникла весна.
Как там, на Кавказе, когда-то, как в Сочи, —
Из музыки, роз и бокалов до дна, —

Серебряной ночью, среди шумного бала,
Кружилась весна на паркетном полу,
И вот уже опыта жизни не стало,
И вот уже юность и счастье сначала,
Как в громе мазурки на первом балу.

Как там, на Кавказе, когда-то, как в Сочи,
Среди шумного бала, серебряной ночью.

6

К луне протягивая руки,
Она стояла у окна,
Зеленым купоросом скуки
Светила ей в лицо луна.

Осенний ветер выл и лаял,
Сгоняя призраки к реке,
И как мороженое таял
Измены вкус на языке.

7

Угли краснели в камине,
В комнате стало темно.
Все это было в Берлине,
Все это было давно.

И никогда я не знала,
Что у него за дела.
Сам он рассказывал мало,
Спрашивать я не могла.

Вечно любовь и тревога.
Страшно мне? Нет, ничего.
Ночью просила я Бога,
Чтоб не накрыли его.

И уезжая кататься
В автомобиле одна,
Я не могла улыбаться
Встречным друзьям из окна.

ИВАН ПРИЛЕПСКИЙ

Декабрьский день. Судьбы не искушая,
Я добросовестно пилил дрова;
Потом рубил — часов не наблюдая —
Небесного свидетель волшебства:

Как бы стада овец неслись в разброде
Громады бесприютных в небе тучь!
И среди них, — на грозном небосводе, —
Всепримирающий победный луч.

Я шел домой, как сопричастный Тайне
Божественного действия в небесах;
И думал, дерзкой мыслью осиянный,
Что Бог во мне, и я в Его лучах.

1942.

ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ

Спит горбатый и видит во сне,
Что он ловкий и сильный и статный;
Спит голодный, — и вот на огне
В теплой комнате суп ароматный;

Заклученный в темнице заснул —
И ему утомленному снится
Океана свободного гул,
Сильный ветер, летящая птица.

О, душа, закрывая глаза
В мире темном и призрачном этом,
Слышишь ты, как звучат небеса,
Видишь волны поющего света!

Но как-же быть с цветами и с детьми,
Со всем беспомощным и чистым в мире?
Пойми, что им не место здесь, пойми,
Не место на земном и грубом пире.

В их широко распахнутых глазах
(Вглядись в них пристальнее на мгновенье),
В них даже не тревога и не страх, —
Одно лишь тихое недоуменье.

Они как будто вопрошают нас
О тишине обещанной, о свете.
За каждый темный день, за каждый час
Нерадостный — мы все у них в ответе.

Ударом на удар. — Но прямота,
Бесстрашие без цели и расчета,
Готовность к жертве всюду и всегда
Похожим делают на Дон-Кихота.

Не надо громких и высоких слов
О правде, верности и Дульцинее!
Правей тебя погонщики ослов!
Их много больше и они сильнее.

В котле их жирный и горячий суп,
Они сильны признанием всенародным.
За то, что ты не громок и не груб,
Боюсь, что ты останешься голодным.

Не проще-ли к их шумному столу
Подсесть и вместе с ними поглумиться
Над тем, что чудаку в его углу
Могло от одиночества присниться?

Едва склонится день и синей мглой
Оденутся и лес, и дом и склоны,
Как глухо нарастающий прибой,
С земли несутся жалобы и стоны.

Пустыня стонет, что она — не сад,
Колючий терн хотел бы стать цветами,
Крылатой птицею ползучий гад,
Сыны земные — пламени сынами.

Как Божья риза, этот чудный мир
Задуман был и радостным и светлым, —
И вот лежит он ниц и наг и сир,
И время падает остывшим пеплом.

ВЛАД. СМОЛЕНСКИЙ

Как летящая, из сил последних, птица
Посредине ледяного океана,
С верной смертью продолжает биться
Средь ветров и стужи и тумана.

Как она должна свое дыханье
С силою своею соразмерить,
Чтоб в себе преодолеть желанье
Больше не бороться и не верить!

Что должно ей, этой птице, мниться
В океане том необозримом? —
Так и ты, душа, должна стремиться
К берегам своим недостижимым.

Ты остался один — не надейся, не плачь, не гордись,
Ты напрасно родился и сердце напрасно любило,
Над тобою сияет тебя обманувшая высь,
Пред тобою зияет, молчанием вечным, могила.

Наклонись над столом, над бесплодной пустыней листа,
На которой ты думал взрастить небывалые розы,
Здесь от стужи и жажды твоя погибала мечта,
Здесь она, задыхаясь, кричала мольбы и угрозы.

Ради нескольких ангельских слов, ради нескольких строк,
Ради темной мечты и безрадостной и величавой
Ты отдал свою жизнь — и уже приближается срок
И тебе уж не надо ни слова, ни счастья ни славы.

На земле умирает любовь, в небесах угасают лучи,
Слышишь, ангел поет? — Замолчи, пожалей, замолчи!

Взгляни на небо — ни одна звезда
С другой звездой равенства не знает,
Одна сияет, как осколок льда,
Другая углем огненным пылает.

И каждая свой излучает свет,
Таинственный, зловещий, или ясный,
Имеет каждая свой смысл и цвет
И каждая по своему прекрасна.

Но человек в безумии рожден —
Он редко к звездам взоры поднимает,
О равенстве людей хлопочет он
И равенство убийством утверждает.

В. Ходасевичу

Страшно мне и горько в этом мире,
Холодно среди могильных плит —
Ты всю жизнь душой склонялся к лире,
Жизнь ушла, а лира все звучит.

Страшно мне — в безвыходном покое,
В ледяном безмолвии земли,
В полусгнившем гробе, слышишь-ли
Ты звучанье это неземное?

1

Не знаю как, не знаю почему,
Какими силами земли иль неба,
Но ты со мною делишь корку хлеба
И к сердцу приникаешь моему.

И в смерти час, и в вдохновенья час,
Со мною ты всегда неотделимо,
Все движется — все мимо, мимо. —
Недвижно лишь твоих сиянье глаз.

2

И в сложности мучительной моей,
И в простоте сияющей твоей,

В моем почти безумном вдохновеньи,
В твоем простом, как райской птицы, пеньи,

Есть общность странная, есть тот-же звук иль тишь,
Среди других их сразу различишь,

Какая-то чуть видная черта
В морщине лба или улыбке рта,

Одна и та-же слабость или сила
— Она навеки нас соединила.

Иногда мне кажется — ошибка
 Столько раз солгавшая мечта —
 Я совсем не тот и ты не та,
 Лишь кривая на губах улыбка.

Боже мой! — от века каждый знает,
 Чем кончается земная страсть,
 Человек лишь для того взлетает,
 Чтоб вздохнуть и крикнуть и упасть.

Но в ответ, не говоря ни слова,
 Может-быть не слыша ничего,
 Ты глядишь и нежно и сурово
 В глубину безумья моего

И украдкой крестишь неземною
 Легкой и горячею рукою.

Я знаю, исчезнет вот это печальное счастье,
 И ляжет на сердце уже ледяная рука,
 И страсти на смену придет неземное бесстрастье,
 И ветер сорвет лепестки золотого цветка.

Я знаю, исчезнет... — Но что мне до исчезновенья,
 Когда ты живешь всем смертям вопреки и в ответ,
 Когда мне так сладко меж жизнью и смертью скольженье
 Сквозь ясность слепую и сквозь ослепительный бред.

Мы, помнишь, читали: “одни поцелуи всеильны”
 Мы, помнишь, метались, друг друга по свету ища,
 Какое нам дело, что где-то есть сумрак могильный
 И что у Распятья горит гробовая свеча.

Ничего не вернешь, ничего не поправишь,
Ничего не расскажешь и не объяснишь.
Ни к чему болтовня “о сияньи и славе”,
Даже вовсе не где-то там... вовсе не спишь.

Без следа. Без надежды на отклик и встречу.
Только книги и вещи живое хранят.
Эта рана — ее никогда не залечишь —
Беззащитная голая совесть моя.

И над жизнью твоей — так нелепо истлевшей,
И над жизнью моей, уж не нашей весной
Веет ветер, с далеких морей залетевший...
Плющ зеленый и розы на глине осевшей,
Крест дубовый, сколоченный верной рукой.

Мы распрощались с другом на пороге.
— “До скорого!” И вот ночной Париж.
От прежнего — неповторимы, строги —
Остались только очертанья крыш.

И утомленный болтовнею праздной,
Отравленный вонючим табаком,
По этим улицам, пустым и грязным,
Иду я медленно домой пешком.

Как холодно! Лет семь какихнибудь,
В такую ночь, каким огнем объята...
Постой, постой, дружок мой, не забудь!
— В тридцать девятом, а не в сорок пятом.

И ржавый, одинокий лист, шурша,
Гонимый ветром, кружит по аллее.
Как страшно мне, что нищая душа
Еще при жизни холодеет.

ВОСЬМИСТИЦИЯ

I

Посмотри: над присмирившей степью,
Над грозой отшумевшей, над тобой
Радуга изогнутою цепью
Поднялась средь пыли дождевой;
Поемотри, — не пропусти мгновенье, —
Как сияет радужная цепь:
Это с небом ищет примиренье
Бурей растревоженная степь.

II

Есть стихи, которых не повторишь, —
Знаю не к лицу мне грусть, —
Зря ты их меня читать неволишь,
Зря запоминаешь наизусть, —
А потом не понимаешь шуток
И не веришь в мой веселый смех:
Для тебя любовь, как первопуток.
Для меня — уже последний снег.

III

Широка, просторна и легка
У казачки вольная походка —
Так плывут над степью облака,
Так плывет и парусная лодка,
Лебединой грудью наклонясь;
Так любовь внезапная приходит.
Так и ветер в буераках бродит.
Никого на свете не боясь.

IV

Учился у Гумилева
На все смотреть свысока,
Не бояться честного слова
И не знать что такое тоска;
Но жизнь оказалась сильнее,
Но жизнь оказалась нежней,
Чем глупые эти затеи,
Чем все разговоры о ней.

V

Нет, не всегда и не везде
Теперь я слышу потаенный голос.
На вспаханной прилежно борозде
Уже склонился, созревая, колос.
Кончается беспечная пора.
Ты стала вдруг задумчивей и строже.
Игра, игра! — последняя игра,
Как будто, на действительность похожа.

VI

Лед вокруг давным давно не сколот,
От морозов затуманился восток;
Но страшнее, чем полярный холод,
Сердца равнодушный холодок.
Мы одни, подруга дорогая!
Никого — умеющих помочь, —
Только муза! — музыка такая,
Без которой жить уже невмочь.

ТРИ РУБЛЯ *)

Въ тотъ лѣтній вечеръ я прїѣхалъ изъ деревни въ нашъ уѣздный городъ по желѣзной дорогѣ, часу въ девятомъ. Было еще жарко, отъ тучъ сумрачно, надвигалась гроза. Когда я сѣлъ на извозчика и онъ помчалъ меня, подымая пыль, отъ вокзала по темнѣющему полю, сзади вдругъ вспыхнуло, дорога впереди на мгновенье озарилась золотомъ, гдѣ-то прокатился громъ и крупными звѣздами зашлепалъ по пыли и пролеткѣ быстрый, рѣдкій дождь, тотчасъ же прекратившійся. Потомъ пролетка, сорвавшись подъ изволокъ съ мягкой дороги, задрезбуждала по каменному мосту через пересохшую рѣчку. За мостомъ дико чернѣли и металлически пахли городскія кузни. На дорогѣ въ гору горѣлъ запыленный керосиновый фонарь...

Въ гостиницѣ Воробьева, лучшей въ городѣ, мнѣ, какъ всегда, отвели лучшую комнату, со спальней за перегородкой. Воздухъ въ этой комнатѣ съ двумя закрытыми окнами за бѣлыми коленкоровыми занавѣсками былъ горячъ, какъ въ печи. Я приказал коридорному поднять занавѣски, открыть окна настежь, принести самоваръ и поскорѣе подошелъ къ окну: въ комнатѣ дышать было нечѣмъ. За окномъ уже чернѣла темнота, въ которой то и дѣло вспыхивали молніи, теперь уже голубыя, и опять катился точно по ухабамъ гулъ грома. И, помню, я подумалъ: до того ничтожный городишко, что даже непонятно, зачѣмъ такъ грозно вспыхиваетъ надъ нимъ этотъ великолѣпный голубой свѣтъ и такъ величественно грохочетъ, сотрясается мрачное незидимое небо. Я пошелъ за перегородку и, снимая пиджакъ и развязывая галстухъ, услышалъ, какъ влетѣлъ съ самоваромъ на подносѣ коридорный и стукнулъ въ круглый столъ передъ диваномъ. Я выглянулъ: кромѣ самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносѣ была еще чашка.

— А чашка зачѣмъ? — спросилъ я.

Коридорный ответилъ, заигравъ глазами:

— Тамъ васъ одна барышня спрашиваетъ, Борисъ Петровичъ.

— Какая барышня?

*) По желанію автора печатается по старой орфографіи.

Корридорный пожалъ плечомъ и манерно усмѣхнулся:

— Понятно, какая. Очень просила выпустить, общала рубль на чай, если хорошо заработаетъ. Видѣла, какъ вы подъѣхали...

— Изъ уличныхъ, значить?

— Ясное дѣло. Такихъ у насъ никогда не замѣтно было: приѣзжіе обыкновенно за барышнями къ Аннѣ Матвѣевнѣ посылаютъ, а тутъ вдругъ какая-то сама входитъ... Ростомъ замѣчательная и вродѣ гимназистки.

Я подумалъ о скучномъ вечерѣ, который предстоялъ мнѣ, и сказалъ:

— Это забавно. Впусти ее.

Корридорный радостно исчезъ. Я сталъ заваривать чай, но въ дверь тотчасъ постучали, и я съ удивленіемъ увидаль, какъ, не дожидаясь отвѣта, въ комнату развязными шагами большихъ ногъ въ старыхъ холщевыхъ туфляхъ вошла рослая дѣвушка въ коричневомъ гимназическомъ платьѣ и соломенной шляпкѣ съ пучкомъ искусственныхъ васильковъ сбоку.

— Вотъ шла и забрела на огонекъ къ вамъ, — громко сказала она, отводя въ сторону темные глаза.

Все это было такъ не похоже на то, что я ожидалъ, что я слегка растерялся и стѣтилъ не въ мѣру весело:

— Очень пріятно! Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить...

За окнами вспыхнуло уже фіолетово и совсѣмъ широко, громъ прокатился гдѣ-то близко и предостерегающе, въ комнату пахнуло вѣтромъ, и я поспѣшилъ затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущеніе. Когда же обернулся, она сидѣла на диванѣ, снявъ шляпку и закидывая назадъ стриженные волосы продолговатой загорѣлой рукой. Волосы у нея были густые, каштановые, лицо нѣсколько широкоскулое, въ веснушкахъ, губы полныя и сиреневыя, глаза темные и серьезные. Я хотель шутливо извиниться, что я безъ пиджака, но она сухо посмотрѣла на меня и спросила:

— Сколько вы можете заплатить?

Я опять отвѣтилъ съ дѣланной безпечностью:

— Успѣемъ еще сговориться! Выпьемъ прежде чайку.

— Нѣтъ, — сказала она, хмурясь, — я должна заранѣе знать условія. Я меньше трехъ рублей не беру.

— Три такъ три, — сказалъ я тѣмъ же тономъ.

— Вы шутите? — спросила она.

— Нисколько, — отвѣтилъ я, думая: напою ее чаемъ, дамъ три рубля и выпровожу съ Богомъ.

Она вздохнула и, закрывъ глаза, откинула голову на отвалъ дивана. Я подумалъ, глядя на ея безкровныя губы, что она, вѣр-

но, голодна, подалъ ей чашку чая и тарелку съ булкой, сѣлъ на диванъ и тронулъ ее за руку:

— Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и ѣсть. Я пристально смотрѣлъ на ея загорѣлыя руки и строго опущенныя темныя рѣсницы, думая, что дѣло все больше принимаетъ глупый оборотъ, и спросилъ:

— Вы здѣшняя?

Она помотала головой, запивая булку:

— Нѣтъ, дальняя...

И опять замолчала. Потомъ стряхнула съ колѣнъ крошки и вдругъ встала, не глядя на меня:

— Я пойду раздѣваться.

Это было неожиданнѣй всего, я, растерявшись, хотѣлъ что-то сказать, но она повелительно перебила меня:

— Затворите дверь на ключъ и опустите шторы на окнахъ.

И пошла за перегородку.

Я съ бессознательной покорностью и поспѣшностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молніи, будто стараясь поглубже заглянуть въ комнату, и все настойчивѣе катились сотрясающіеся гулы, повернулъ въ прихожей дверной ключъ, не понимая, зачѣмъ я все это дѣлаю, и уже хотѣлъ было войти къ ней съ притворнымъ смѣхомъ, перевести все въ шутку или соврать, что у меня страшно разболѣлась голова, но она громко сказала изъ-за перегородки:

— Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошелъ за перегородку и увидѣлъ ее уже въ постели: она лежала, натянувъ одѣяло до подбородка, дико смотрѣла на меня совершенно почернѣвшими глазами и сжимала постукивающіе зубы. И въ безмятствѣ растерянности и страсти я дернулъ одѣяло изъ ея рукъ, раскрывъ все ея тѣло въ одной коротенькой заношенной сорочкѣ. Она едва успѣла поймать голой рукой деревянную грушу надъ изголовьемъ и потушить свѣтъ...

Потомъ я стоялъ въ темнотѣ возлѣ раскрытаго окна, жадно курилъ, слушалъ шумъ отвѣснаго ливня, низвергавшагося въ черномъ мракѣ на мертвый городъ вмѣстѣ съ яркимъ и быстрымъ трепетомъ фіолетовыхъ молній и дальними ударами грома, разсѣянно думалъ, вдыхая дождевую свѣжесть, смѣшанную съ запахами города, накаленного за день: да, непонятное соединеніе — это жалкое захоluste и это божественно-грозное, грохочущее и слѣпящее въ ливнѣ величіе, — и все больше дивился и ужасался: какъ же это я все-таки не понялъ до конца, съ кѣмъ я имѣю дѣло и почему она решилась продать за три рубля свою дѣвственность! Она окликнула меня:

— Закройте окно, очень шумить, и подите ко мнѣ.

Я вернулся въ темнотѣ за перегородку, сѣлъ на постель и, найдя и цѣлуя ея руку, сталъ говорить:

— Простите, простите меня...

Она безстрастно спросила:

— Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я сталъ поспѣшно отвѣчать:

— Нѣтъ, нѣтъ, не сумасшедшая, я только думалъ, что вы еще мало опытны, хотя уже знаете, что нѣкоторыя дѣвицы въ извѣстныхъ домахъ надѣваютъ гимназическія платья.

— Зачѣмъ?

— Чтобы казаться невиннѣе, привлекательнѣе.

— Нѣтъ, я этого не знала. У меня просто нѣтъ другого платья. Я только нынѣшней весной кончила гимназію. Тутъ внезапно умеръ папа, — мама умерла давно, — я изъ Новочеркасска пріѣхала сюда, думала найти тутъ черезъ одного нашего родственника работу, остановилась у него, а онъ сталъ приставать ко мнѣ, и я ударила его и цѣлую недѣлю ночевала на скамейкахъ въ городскомъ саду... Я думала, что умру, когда вошла къ вамъ. А тутъ еще увидала, что вы хотите какъ-нибудь отдѣлаться отъ меня.

— Да, я попалъ въ глупое положеніе, — сказалъ я. — Я согласился впустить васъ просто такъ, отъ скуки, — я съ проститутками никогда не имѣлъ дѣла. Я думалъ, что войдетъ какая-нибудь самая обыкновенная уличная дѣвочка, и я угощу ее чаемъ, поболтаю, пошучу съ ней, потомъ просто подарю ей два-три рубля...

— Да, а вмѣсто этого вошла я. И почти до послѣдней минуты старалась держать въ головѣ одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсѣмъ другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понималъ и я: темнота, шумъ ливня за окнами, возлѣ меня лежитъ на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сихъ поръ не знаю даже имени... потомъ эти чувства, что съ каждой минутой все неудержимѣе растутъ во мнѣ къ ней... Я съ трудомъ выговорилъ:

— Чего вы не понимаете?

Она не отвѣтила. Я вдругъ зажегъ свѣтъ — передо мной блеснули ея большіе черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусивъ губу, упала головой на плечо ко мнѣ. Я откинулъ ея голову и сталъ цѣловать ея въ искаженный и мокрый отъ слезъ ротъ, обнимая ея большое тѣло въ спустившейся съ плеча заношенной сорочкѣ, с безуміемъ жалости и нѣжности увидалъ ея пропыленные, смуглыя дѣвичьи ступни... Потомъ но-

меръ былъ полонъ сквозь спущенныя шторы утреннимъ солнцемъ, а мы все еще сидѣли и говорили на диванѣ за круглымъ столомъ, — она съ голоду допила холодный чай, оставшійся съ вечера, и доѣла булку, — и все цѣловали другъ другу руки...

Она осталась въ гостиницѣ, я съѣздилъ въ деревню и на другой день мы уѣхали съ ней на Минеральныя Воды.

Осень мы хотѣли провести въ Москвѣ, но и осень и зиму провели въ Ялтѣ — она начала горѣть и кашлять, въ комнатахъ у насъ запахло креозотомъ... А весной я схоронилъ ее.

Ялтинское кладбище на высокомъ холмѣ. И съ него далеко видно море, а изъ города — кресты и памятники. И среди нихъ, вѣрно, и теперь еще бѣлѣтъ мраморный крестъ надъ одной изъ самыхъ дорогихъ мнѣ могилъ. И я уже больше никогда не увижу его — Богъ милосердно избавилъ меня отъ этого.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

НОЧНЫЕ ДОРОГИ

Отрывки из романа

Я вспомнил, что давно не видал Ральди, — с того самого дня, когда она рассказала мне об уходе Алисы. Ища ее, я проезжал несколько раз по той части avenue Wagram, где она всегда бывала, но несколько вечеров подряд ее не было. Я встретил ее там, где совершенно не ожидал, — на площади Cligny, в пятом часу утра. Она стояла — в своем мужском, совсем теперь потрепанном, пальто, в мягких, комнатных туфлях, — у входа в большое кафе, низко опустив тяжелую голову и глядя на троттуар. Когда я остановил автомобиль против нее, она подняла на меня свои усталые и нежные, как всегда, глаза.

— *Bonjour, mon petit, c'est la Providence qui t'envoie*, — сказала она. Она ждала, оказывается, первого метро, чтобы вернуться домой, и не могла войти в кафе, так как у нее не было денег.

— Идемте, идемте, — сказал я, беря ее под руку, — мы поговорим в кафе.

Она кивнула головой. Когда мы сидели за столиком, ей несколько раз почти становилось дурно, она клала руку на сердце и переставала есть. После этого, тяжело отдышавшись, она приходила в себя.

— Что с вами? — спросил я.

Она объяснила, что у нее усталое сердце, что она двое суток провела дома, так как ей было трудно встать, и только вчера вечером вышла на работу, — и конечно, напрасно. Она не хотела возвращаться домой пешком, хотя это было совсем недалеко; но она боялась не дойти. Полночи она простояла здесь, ей было очень нехорошо, она чувствовала себя, как в бреду; перед ней мутно горели огни и двигались люди в неверных и качающихся очертаниях. Когда она сказала мне, что сыта, я отвез ее домой, и помог ей подняться на третий этаж; она вошла в свою комнату, и, не раздеваясь, в пальто, легла на кровать.

— Ложитесь, как следует, разденьтесь, — сказал я.

— Нет, нет, ничего, я отдохну немного. — Я разденусь потом. Голова ее лежала на высокой подушке; в утреннем свете, на

белом полотне резко выделялось ее, одновременно желтое и бледное лицо.

— Вам бы следовало лечь в больницу, — сказал я. — Хотите, я это устрою? Я позвоню по телефону...

— Нет, нет. Я не хочу в больницу.

— Но там вам будет лучше.

Но она продолжала отказываться. — Пойми меня, — сказала она — там я буду больная номер такой то, как все, *comme tout le monde. Mais je ne suis pas comme tout le monde.*, — она приподняла голову с подушки, — *je suis quand même Raldy.* Да, та самая Ральди, — повторила она, — та самая, с бриллиантами и поклонниками и большим состоянием. Я знаю, что от всего этого ничего не осталось, и что я просто старая женщина, умирающая оттого, что сердце не выдержало слишком большого количества наркоза, которое я ему дала. Ты понимаешь? Но все-таки я Ральди. Я умру одна.

Я молчал, сцепив пальцы рук, сидя на единственном стуле ее комнаты, который скрипел и покачивался.

— Не думай, что я совсем собираюсь умирать, — сказала она. — Я, может быть, еще останусь жива и на этот раз. Такие припадки у меня уже бывали; правда, мне никогда не было так плохо.

Я уехал, оставив ей денег, и обещав вернуться на-днях. В течение суток, в те часы, когда я не работал, я все вспоминал о ней, и думал, что может быть, опоздаю. Но я ошибся. Когда я пришел к ней через день, я застал ее попрежнему в кровати, но глаза ее были светлее, чем прошлый раз, и она жаловалась только на слабость. Теперь я рассмотрел как следует, ее комнату, которую я видел впервые, когда зашел к Ральди на несколько минут, и Алиса, передевавшаяся в моем присутствии, стояла передо мной голая, во всем жестоком великолепии своего прекрасного тела и Ральди сказала еще тогда: *Reste un instant comme ça, Alice, je voudrais qu'il te voie bien nue.* Я увидел теперь отчетливо блеклую фотографию Ральди, снятую в эпоху ее расцвета, и большую атласную *bannière*, с гербом города Ниццы в жемчугах, и с рисунком масляными красками, изображавшим казино на сваях, надписью: «*Carnaval de Nice, premier prix*», — и датой; это был один из первых годов нашего столетия. И рядом с неувядшим — несмотря на свою долгую жизнь, — атласом был большой снимок: экипаж, убранный белыми цветами, декоративные, белые лошади, и в экипаже, во весь рост, улыбающаяся красавица с венком на голове: Ральди, — такая, какой она была тогда, в начале столетия.

— Я храню эту *bannière*, — сказала она, — тебе это должно

показаться смешно, — потому что это был лучший год моего существования.

Потом она посмотрела мне в лицо так пристально и внимательно, что мне стало неловко и я отвел взгляд, боясь, что бы она не поняла того, что, наверное, было в моих глазах, и чего ей не стоило понимать.

— *Es-tu marié?*

— *Non.*

— *As-tu une maîtresse?*

— *Oui.*

— *Tu l'aime beaucoup?*

— *Oui.*

— *Elle t'aime bien?*

— *Non.*

Я сделал над собой усилие, улыбнулся и сказал:

— Зачем вы меня об этом спрашиваете? Этот диалог похож на упражнение из учебника французского языка.

— Нет, я спрашиваю потому, что хочу понять одну вещь; может быть, если я буду знать о тебе больше, чем знаю теперь, это поможет мне. Мне кажется даже, что я начинаю понимать.

— Но что именно?

— У меня было много любовников, — сказала она, не отвечая, и глаза ее наполнились слезами. — Они все обязаны мне тем, что если бы не я, они бы никогда не знали, ни что такое счастье, ни что такое наслаждение. И вот, в эти дни, может быть, последние дни моей жизни, никто из них не вспомнит обо мне, я одна, — и только ты, который опоздал на четверть столетия, и который мне ничем не обязан, — ты сидишь у моей кровати, рядом со мной. Если бы ты знал, как я была хороша и как я умела любить! Но ты никогда этого не узнаешь.

Я слушал ее и думал, что несмотря на свой несомненный ум и громадный опыт, она представляла себе только одну возможность счастья, именно ту, которую она продавала и раздавала всю свою долгую жизнь, и к которой остальное было лишь случайным дополнением. И даже теперь, в самом конце ее существования, когда давно одрябли и утратили гибкость мускулы ее тела, и смертельный холод уже начал медленно подниматься к ее сердцу, по вертикальной линии, от земли, — она жаловалась, что у нее ледяные ноги, которых она не может согреть, — даже теперь этот юношеский разгон давно угасшего, сильнейшего чувственного мироощущения доходил до нее последним, умирающим всплеском. Это могло быть правильным или неправильным пониманием; но потому, что Ральди именно теперь говорила об этом, было очевидно, что с возможностью такого понимания нельзя было спорить, это была ее огромная и длительная сила, так на-

прасно, так небрежно растроченная ею. И я вновь увидел весеннюю, прозрачную ночь, в которую мы возвращались с Платоном на Монпарнас и вспомнил то, что он говорил тогда о Ральди.

— Теперь я знаю, — сказала она, — мне кажется, я знаю, почему ты здесь и именно ты. Это оттого, что ты несчастлив в любви, мой милый. *Tu peux donner plus qu'on ne te demande. Et alors, les restes, c'est à moi qui tu les apportes.*

Она протянула руку к ночному столику и взяла стакан воды. Но пальцы ее так сильно дрожали, что она не могла поднести его ко рту. Я стал поить ее с ложки и наклонился над ней. В сырой тишине ее комнаты я услышал тогда хриплое ее дыхание и глухое бульканье жидкости в ее горле. Именно в ту минуту я ощутил с необыкновенной явственностью, что близкая ее смерть неизбежна. Это было очевидно, конечно, и раньше; но чтобы это перестало быть пониманием и сделалось чувством, нужны были зачем то эти секунды жестокой тишины, это хрипение ее легких, это бульканье воды.

Когда я уходил, сказав ей, что вернусь завтра, она попросила меня повернуть выключатель небольшого аппарата радио, который стоял на комодe. Она сказала, что это ее единственное развлечение и объяснила, что аппарат ей подарил молодой электротехник, живший некоторое время в их доме. Я включил радио; и когда я прощался, в комнате Ральди высокий, мужской голос, звучавший очень тихо и чисто, пел по итальянски арию: «*La force del destino*». Уже были сумерки, очертания предметов теряли свою резкую определенность, уже стали не видны мелкие волны ниццкого атласа; на снимке Ральди, в цветочном экипаже, тускнели и темнели эти бесконечные соединения белого цвета и было трудно отличить закругление гигантского венка от поворота картинной лошадиной шеи. Сквозь высокое и узкое окно, напоминавшее по своей форме одну из составных частей церковного витража, была еще видна глухая стена с разноцветными кирпичными заплатами и кусок неба, ограниченный неправильными линиями домов различной высоты, в котором неподвижно стояла все сильнее и сильнее темнеющая синева.

— *A demain, mon petit,* — сказала Ральди, — *je suis tout à fait mieux.*

Среди моих друзей был молодой и очень талантливый доктор, к которому я обратился с просьбой осмотреть Ральди. Я рассказал ему в нескольких словах ее историю и описал, как мог, ее болезнь. На следующее утро, в его автомобиле, мы поехали к ней. Когда мы поднялись по лестнице, и остановились на секунду у ее двери, до нас донеслась музыка из радио-аппарата. Я постучал, ответа не последовало. Тогда я отворил дверь и мы вошли.

Ральди лежала на кровати во всей своей страшной, последней неподвижности. Рядом с ней, на ночном столике, лежал опрокинутый и разбившийся стакан, из которого вытекла вода. Мертвые, открытые глаза ее, с закатившимися зрачками, смотрели в потолок, отвисала нижняя челюсть, упавшая в смертельном вздохе. Из аппарата продолжала струиться мелодия, и бесполезное ее очарование не могло ничем нарушить непоправимой тишины комнаты; солнце слабо светило через высокое и узкое окно, похожее на витраж. Я долго смотрел на Ральди; и сквозь тяжелую печаль, которую я испытывал, я заметил все-таки, что белое, полное лицо ее почти не изменилось, и то, что ему придавало необыкновенно страшный и мертвый вид, это было исчезновение нежных ее глаз, вместо которых, с каменной и тупой неподвижностью, слепые белки ее были видны во всю их ширину. Я закрыл ее лицо простыней и мы вышли, стараясь не шуметь, как всегда ходят люди в комнате умершего человека. Спустившись вниз, доктор зашел к консьержке и сказал ей, что Ральди умерла.

— *Pas possible!* — ответила консьержка и, набросив на себя пальто, куда-то убежала; вода из кастрюли, стоявшей на огне, в кухне, рядом с ее комнатой, кипела и переливалась, пока не залила с шипением пламя.

Доктор довез меня до дому, мы молчали всю дорогу. Потом я поднялся к себе. Деревянная ставня была приспущена, в комнате было светло лишь наполовину. Я сел в кресло, закурил папиросу, — и тогда вдруг та мелодия, которая звучала в комнате умершей Ральди, и струилась в сыром воздухе, рядом с ее трупом, возникла передо мной. Я услышал в ней шум воды и крики птиц, увидел отступающую тень,двигающуюся вслед за солнцем, блестящую росу на зеленой траве, и легкий пар над деревьями, весь тот утренний мир, дожить до которого у нее не хватило последнего мускульного напряжения сердца, последнего запаса воздуха в легких. Это было “Утро” Грига.

Через несколько дней, в вечерней газете, которую я купил, мне бросился в глаза заголовок:

“Жанна Ральди, которая была в свое время одной из королев Парижа, была найдена вчера мертвой в номере грошовой гостиницы”.

Это было неверно: дом, в котором она жила, не был гостиницей. Но это не имело значения. В статье рассказывалась история ее жизни — и я прочел там обо всем, что она говорила мне; там даже фигурировал *Dédé le Couvreur*. Там описывалось начало ее карьеры, ее приемы в *ville d'Avray*, — и опять эти князья, сенаторы, банкиры, потом принадлежавший ей дом свиданий, затем арест ее по обвинению в торговле наркотиками, — о нем она никогда мне не говорила; не потому, я думаю, что считала

нужным это скрывать, а оттого, что не придавала этому значения, — потом постепенное и медленное ее увядание, троттуары avenue Wagram, того самого avenue Wagram, по которому она некогда проезжала в своем экипаже, и, наконец, не менее классическая, традиционно эффектная смерть в нищете, словом, готовый и благодарный сюжет для бульварного романа. И прочтя статью, я подумал, что Ральди заслуживала лучшего. Ее несчастье заключалось в том, что она попала в среду усталых и невежественных развратников, из которых каждый стремился жигь, как герой модной книги — и в убожестве этой грошовой эстетики и этой среды, у нее не было никаких других возможностей. И кроме того, конечно, в ней самой, как говорил об этом Платон, жило всегда то разрушительное тяготение к несчастью, то постоянное сознание своей обреченности, которое создавало ее несравненное, трагическое очарование. И я вспомнил ее слова:

— *Mais je ne suis pas comme tout le monde. Je suis quand même Raldy. Et je mourrai seule.*

Она умерла одна, — ранним летним утром, или, может быть, в легкую и прозрачную ночь, в часы, предшествующие рассвету. И вместе с ней исчез целый мир, который она создала, — покушения на самоубийства, дуэли без смертельного исхода, несколько плохих стихотворений, голубая, прозрачная ее рубашка, в которой она лежала, когда князь Нербатов плакал, стоя на коленях перед ее кроватью, неувядающий атлас ниццкого карнавала, как шагреновая кожа, нетронутая ни одним желанием, и еще, пожалуй, единственное, чего ей, несомненно, удалось достигнуть в своей жизни — то далекое и медленно слабеющее, как уходящая музыка, сожаление, которое испытали все, кто знал ее печальную и незабываемую близость.

Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печаль моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, — неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление оттого, что все не так, как должно было бы быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти, — я входил, не зная, как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я, на-

Конец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, — именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины.

Но зато здесь, в Париже, существовали десятки русских магазинов и ресторанов. В магазинах продавались русские продукты — *spécialités russes et françaises*, — в ресторанах были русские блюда: блины, голубцы, пельмени, бесконечный борщ. За много лет парижской жизни я перебивал в большинстве этих ресторанов, и помнил в лицо гарсонов и кельнерш, которые путешествовали из одного квартала в другой; иногда они сами становились хозяевами и открывали ресторан, в день открытия пили шампанское и давали объявление в русской газете:

— Петр Васильевич Сидоров имеет честь уведомить дорогих друзей и клиентов, что им открыт собственный ресторан “Петушок” на такой-то улице. Шеф кухни — Василий Иванович Комаров. Большая артистическая программа. Ежедневные выступления любимца публики Саши Семенова. Большой выбор закусок. Дежурное блюдо. Сегодня: растегай. Завтра: поросенок в сметане.

Я закрывал глаза и представлял себе неподвижные, железно-стеклянные цветы на столиках, маленькие лампы с абажурами, Петра Васильевича Сидорова, очень аккуратно одетого, глаза его жены — с классической поволокой, — оркестр, и любимца публики, Сашу Семенова, грузного, лысеющего мужчину с густым, хрипловатым баритоном и плешью, тщательно прикрытой немногими волосами; он пел, выдвигая руки вперед угловатыми и неуверенными жестами в наиболее патетических местах, и говорил близким друзьям, уж под утро, перед закрытием ресторана, что он сторонник итальянской школы и друзья соглашались и тоже верили этой итальянской школе, хотя прекрасно знали, что Саша Семенов был в свое время штабс-капитаном конной батареи и никакого отношения к итальянской школе иметь не мог, но питал большую слабость к женскому полу и был героем многочисленных романов. Все, что он пел, всегда звучало одинаково минорно, независимо от слов, и в голосе его дрожала густая и, как говорили его поклонницы, незримая, слеза. С годами он полнел и лысел, становился тяжелее на подъем, но голос его не слабел и не менялся, несмотря на многолетнюю привычку к вину. Сам он говорил иногда, — не тот, конечно, голос, разве у меня так звучал голос в двадцать втором году? — но это было неверно;

я слышал его тогда, и пел он совершенно так же, как теперь. Всюду, где бы он ни был, — в любом городе Европы, в балканских столицах, в Шанхае или в Америке, — он видел все одно и то же, несмотря на разницу стран: ресторанные стены, оркестр, эстрада, те же слова тех же романсов, та же музыка, тот же шницель повенски, та же водка; менялись только женские лица, да выражения глаз, да волосы, да голоса, да тела. Он сам неоднократно говорил, что если подумать о его жизни, то получается впечатлительное, что он едет все время, в каюте какого-то корабля, мимо разных берегов и разных стран; они меняются, а в каюте и на корабле — все остается прежним. И он жаловался на монотонность своего существования, — обычно сильно выпив и говоря об этом почти плачущим голосом, — и друзья его пожимали плечами и потом, в разговорах между собой не могли не заметить, что вот, дескать, до чего допился человек: видел столько стран, пел в стольких городах, а жалуется на монотонность существования. Но прав был, все-таки, Саша Семенов, а не они. У него была необыкновенная память на лица, но как и все или почти все его способности, она проявлялась только после того, что он выпивал уже значительное количество водки; в трезвом состоянии он был всегда вял и неспособен ни к какому умственному усилию. О его памяти я мог судить потому, что однажды, в пятом часу утра, мы остались вдвоем в ресторане, — женщина, которую я сопровождал, и я, — он подсел к нам и спросил меня, не бывал ли я в таком-то году, в таком-то месте, в Константинополе, в сопровождении таких-то и таких-то людей. Он точно помнил их физиономии, их костюмы, их вид. Это меня поразило, я ему ответил; он сразу сделался словоохотлив, и когда я его спросил, почему он выбрал именно ресторанный карьеру, он сказал с внезапной откровенностью и искренностью:

— Потому что для другой карьеры нет данных. Были бы, не пел бы я в ресторане. Вот, смотрите, не придет же никому в голову представить себе Шаляпина в кабаре. А Сашку Семенова так же нельзя себе представить на концертной эстраде или в опере. Я ведь, батенька, в пении и музыке партизан.

В нем, как и во многих русских людях, был, однако, совершенно искренний надрыв, та чистая и бескорыстная печаль, которую было бы уместно предположить у поэта, или философа и которая казалась неожиданной и в какой-то мере незаконной у бывшего капитана, ставшего кабаретным певцом. Поразительность этого заключалась в том, что чувство это было несомненно высшего порядка, и ему должны были бы соответствовать другие, столь же возвышенные представления, которых у Саши, конечно, не было. Это в каком-то смысле было так же удивительно, как если бы простой фермер или дворник вдруг оказался бы лю-

бителем Рембрандта, Бетховена или Шекспира. Но это не было ни случайным, ни временным; и у многих простых русских людей я замечал именно этот вид душевной роскоши, сравнительно редкий в Европе вообще. У этих русских было от природы заложено некое этическое начало, естественно предшествующее возникновению творческой культуры, возможности которой казались почти совершенно заглушенными здесь, на западе.

Разговаривая как-то с моим постоянным собеседником, Платоном, я сказал, что в этом смысле мне все здесь казалось так же неблагоприятно, как в музыке или пении, в терминологии которого меня поражало выражение *chanteur à voix*, непереводаемое на язык русских понятий. Платон долго говорил тогда о губительном влиянии Декарта, которого он искренно презирал, о том, что французской поэзии вне Бодлера не существует. — А Рэмбо, а Франсуа Виллон, а Ронсар? Но Рэмбо, по его мнению, был только начинавшийся опыт, значительность Виллона и Ронсара он отвергал, — и в этом разговоре я с удивлением выяснил, что Платон отрицательно отнесся почти ко всему, что считалось выражением французского гения, он с пренебрежением говорил о Гюго и Флобере, о Монтэне и Ламартине, о Ларошфуко и Вольтере, ума которого, он, впрочем, не оспаривал. Единственные, кого он признавал, были Стендаль, Бальзак и Бодлэр и еще какой-то человек, который по его словам, был головой выше их всех, — он назвал мне его фамилию и я ее не запомнил; я только твердо знаю, что ни до, ни после этого я ее нигде не слышал. Когда я ему сказал, что меня удивляет его мнение о французской культуре, он пожал плечами и ответил, что это выражение — анахронизм и никакой французской культуры не существует по крайней мере в настоящее время; до войны четырнадцатого года ее последние остатки еще владели жалкое существование, но теперь? — было бы нелепо ее искать в той среде, из которой состоит привилегированный класс Франции и которая представляет собой невежественную сволочь, *une canaille ignare*.

В том, что говорил Платон, была некоторая частичная убедительность, объяснявшаяся, во-первых, его личными диалектическими способностями, во-вторых, еще одной причиной: в безвозвратном его падении, мир, действительно, представлялся ему мрачнее, чем другим людям, у которых не было столь же повелительных побуждений быть пессимистами. Это отражалось на всех суждениях Платона, независимо от того, шла ли речь о футболе — он, в частности, хорошо знал этот вопрос, так как учась в Англии, был два года голкипером университетской команды, — о философии, промышленности или земледелии. В общем, постоянная его защитная позиция сводилась к тому, что мир, из которого он ушел, не заслуживает сожаления. Такова была, я

думаю, побудительная причина его критики; но помимо этого. в ней была, конечно, еще часть той объективной истины, без которой все его безнадежные высказывания казались бы совершенно необоснованными.

Сашку Семенова я слышал потом еще много раз. По субботам, от семи до девяти часов он пел в том маленьком ресторане, где я обычно обедал, — и где знал всех посетителей, хозяйку, кельнерш, и все биографии и даже степени богатства этих людей, в прежние, далекие времена, в дореволюционной России. Большинство их были миллионеры, помещики и кутилы и почти все принадлежали к аристократическим кругам общества; это тоже был защитный, но только утешительный рефлекс, в сущности совершенно безобидный, так как все, что они рассказывали, было идеально неправдоподобно и не могло ввести в заблуждение даже самого наивного человека. Моими постоянными соседями по столу были два русских шоффера, уж немолодые и чрезвычайно занятые люди, Иван Петрович и Иван Николаевич, и разговаривая с ними, я удивлялся той бесполезной трате энергии, которая была характерна для них обоих. Иван Петрович был организатором политических партий. У него было человек пятнадцать близких его друзей, которые составляли ядро организации, постоянно менявшей названия, но, в сущности, одной и той же. В объединительных предложениях фантазия Ивана Петровича была неутомима. Он последовательно возглавлял то “союз младших офицеров уланских полков”, то “комитет спасения России”, — без каких бы то ни было уточнений, — то “объединение бывших воспитанников северных кадетских корпусов”, то “братство инженерных частей”, то “координированное общество машинной тяги западного фронта”. Он выработывал устав, который обсуждался в учредительном комитете, делал смету расходов, определял сумму ежемесячных взносов, и затем ехал в префектуру — зарегистрировать новое общество. После этого устраивались доклады, собеседования и лекции: “Современное положение Европы”, “Современное положение России”, “Россия и Европа”, “Экономический фактор в современной политике” и так далее. Еще через некоторое время, в обеденный час, в ресторан приходил давний друг Ивана Петровича, его бывший соратник по армии и товарищ по военному училищу, маленький, худенький человек с незначительным лицом. Он садился за наш столик, заказывал чашку кофе и говорил:

— Иван Петрович, я пришел объяснить. Как член контрольной комиссии я не могу тебе не сказать, от имени всех моих коллег, что ты превышаешь свои полномочия. Ты знаешь, что это недопустимо.

Начинался долгий спор, после которого в партии Ивана

Петровича образовывалась отколовшаяся фракция. Отколовшаяся фракция рассылала всем членам объединения объяснительные листки, напечатанные на пишущей машинке, где излагались в очень возвышенном стиле причины конфликта, давно уже, по словам составителей листков, назревавшего, но находившегося в латентном состоянии. Партия распалась. Тогда Иван Петрович принимался за личные переговоры с каждым ее членом в отдельности и после этих совещаний снова собирался учредительный комитет, выработывался устав, и все начиналось сначала. Иван Петрович был всегда плохо одет и мало зарабатывал, так как большую часть времени посвящал этому своеобразному политическому *perpetuum mobile*. Мне за столом он объяснял все пружины политического механизма, принципы пропаганды и даже тайну успеха; но я в общем очень мало о нем знал, так как кроме этого, он ни о чем другом не говорил и только один раз вскользь сказал, что считает Гоголя хорошим писателем.

Иван Николаевич не занимался политикой в собственном смысле слова, но был одержим очень странной административной манией. Его жизнь заключалась в том, что он, вступая во всевозможные акционерные общества, организованные, конечно, русскими эмигрантами, бывал на всех собраниях, голосовал, воздерживался, объяснял, требовал объяснений, становился сам акционером, и делался, наконец, членом правления. На этом кончалась положительная часть его программы, после которой, с неизбежной и неумолимой последовательностью, начиналась вторая, отрицательная. Он вдруг выяснял или ему вдруг начинало казаться, что он стал жертвой какой-то жульнической комбинации, точно так же, как и большинство членов этого акционерного общества. Период подозрений сменялся периодом уверенности, Иван Николаевич уходил из правления, демонстративно переставал являться на собрания и обращался к адвокату с тем, чтобы возбуждать процесс против правления общества. Обо всех, кто фигурировал в числе людей, которых он привлекал к ответственности, он собирал всюду, где мог, всевозможные справки и для каждого из них составлял досье. Потом он садился за работу: делал выводы, сопоставления, вырезал из газет статьи, и писал десятки длинейших сочинений, которые затем печатал на машинке и в переплетенном виде передавал адвокату. Большинство тех, против кого он вел процесс, представляли из себя — если бы о них судить по его досье, — чрезвычайно опасный элемент, как в моральном, так и в политическом смысле. И когда, после процедуры, суд их оправдывал, Иван Николаевич намекал, что здесь была уплачена крупная взятка. Но за время процесса он успевал опять стать членом правления другого общества. Он бывал в хороших отношениях с людьми до тех пор, пока

эти отношения не переходили в деловые; тогда он начинал готовиться к процессу. Ему очень туго жилось, хотя он усердно работал; но его разоряли бесконечные судебные издержки, дружеские векселя, которые он подписывал, неоплаченные чеки и расходы, сопряженные с собиранием справок.. Вне этого он был услужливым и любезным человеком, у него был только один садный недостаток: когда в ресторане заводился грамофон с усилителем, он не мог удержаться, чтобы не подпевать, причем ухитрялся делать это даже во время еды, — что производило всегда странное впечатление, к которому я никак не мог привыкнуть.

Жизнь этих людей была посвящена, в сущности, почти одинаковым целям; во всяком случае, их деятельность была совершенно бесплодна. Я неоднократно думал, слушая их разговоры, что именно из таких, как они, вербуются, вероятно, политические кадры, государственные деятели, советники; единственное, что отличало их от этой категории, это их неудачливость и, затем, конечно, бескорыстность. Но их слепая и непонятная любовь к этой вздорной и ненужной работе, — которую не могли поколебать никакие неудачи, — выражавшая, несомненно, в смешной форме чистую и неутомимую жажду деятельности, заслуживала, конечно, лучшей участи. Меня особенно поразило, в начале моего знакомства с Иваном Петровичем и Иваном Николаевичем, то остервенение и та страстность, с которой они спорили при мне о зависимости между государством и частной собственностью и о возможности правительственного контроля над капиталом.

— Я не могу допустить этого незаконного вмешательства, — говорил Иван Петрович, — никогда, Иван Николаевич, вы слышите, никогда. Если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках.

— Я, как государственно мыслящий человек, — сказал Иван Николаевич, — считаю и буду считать, что благо коллектива бесконечно выше и важнее прав индивидуума. Вы захватили Бог знает какими путями колоссальные суммы денег и вы пользуетесь ими зачем? — Иван Николаевич понизил голос и сказал почти шопотом, — чтобы осуществлять вашу преступную личную власть и ваше пагубное влияние, которое погубит, быть может, тысячи жизней.

— Простите, но я вношу в вашу государственную казну колоссальные налоги, — сказал Иван Петрович. — Простите, но вы заставляете меня платить триста тысяч франков за автомобиль иностранной марки, который стоит сто восемьдесят тысяч; сто двадцать тысяч вы зарабатываете на мне. Простите за напоминание, но вы меня обкрадываете на всем, начиная от бензина и кончая почтовыми марками. Я повторяю: если нужно, мы будем за-

щищать наши права с оружием в руках и кровь этих баррикад будет на вашей совести.

Они сидели друг против друга, за столиком этого маленького ресторана, после обеда, стоившего каждому из них около восьми франков, оба плохо одетые, в потрепанных пиджаках, в рубашках не первой свежести, в штанах с трагической бахромой внизу, и спорили о государстве, гражданами которого они не состояли, о деньгах, которых у них не было, об оружии, которого у них не было, о правах, которых они не имели, и о баррикадах, которых они не построили бы. И, в конце концов, почти все посетители этого ресторана жили так же, как Иван Петрович и Иван Николаевич, в воображаемых мирах, и чего бы речь ни коснулась, — прошлого или будущего, — у них были готовые представления об этом, мечтательные и нелепые, и всегда идеально далекие от действительности. Это были бесконечные и никогда не существовавшие имения, сорок человек за столом, великолепие прежней жизни, французские повара, гувернантки, поездки в Париж, или, опять-таки воображаемые права в воображаемой будущей России или вообще почти бесформенные полунадежды, полуощущения, — вот приеду и прямо скажу: ребята, теперь довольно. Я против вас зла не питаю... Европа, в которой они жили, их совершенно не интересовала, они не знали, что в ней происходит; и лучшие из них становились мечтателями, избегавшими думать о действительности, так как она им мешала; худшие, то есть те, у кого воображение было меньше развито, говорили о своей жизни со слезами в голосе и постепенно спивались. И были, наконец, немногие, успевавшие в том, что они делали, так называемые здравомыслящие люди в европейском смысле слова, но они были наименее интересными и наименее русскими и о них мечтатели говорили обычно с презрением и завистью. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами вообще, французами в особенности, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время, как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретающем мертвенную и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти. Это объяснялось не только тем, что мечтатели были деклассированными людьми, добровольно покидавшими действительность, которая их не удовлетворяла: в этом была еще чисто славянская готовность в любое утро, в любой день, в любой час своего существования отказаться от всего и все начать снова, так, точно этому ничто не предшествовало, — та варварская свобода мышления, которая показалась бы оскорбительной каждому европейцу. Даже любовь мечтателей к прошлому,

к прежней прекрасной жизни в прежней прекрасной России, тоже была обязана своим возникновением вольному движению фантазии, так как то, что они описывали с бескорыстным и искренним умилением, существовало, чаще всего, только в их воображении.

...А из усилителя радио густо и безостановочно струились минорные мелодии, и я с удивлением замечал, что дурные, плохо срифмованные и глупые слова романсов, почти никогда не раздражали меня, они терялись в музыке, как нечистоты в широкой реке. И уходя из ресторана, я всегда почему-то вспоминал пожилую бретонку с сиплым голосом и сизо-красным лицом, которая аккуратно, через два дня в третий, приходила во двор того дома, где я жил, и пела деревянные французские мотивы. Некоторые из них я знал наизусть, — и там попадались удивительные слова:

On s'est rencontré le coeur plein de fièvre
Le front durci de rêves ardents,
Et le même sourire nous venait aux lèvres,
Dans le doux soupir des premiers serments.

И одно место из другого романа:

...Votre passage a laissé dans mon coeur
Une empreinte profonde réclamant le bonheur...

Она всегда была аккуратно и чисто одета, даже заплатки на ее платье были тщательно пришиты и выстираны. У нее был плохой слух и до невозможности хриплый голос; и все-таки, в неверном ее пении и в глупом подборе этих заезженных слов, рассказывавших о трагических идиллиях, и в неизменном эффекте соединения ее седых волос с сизо-красным лицом, было что-то, вызывавшее одновременно и сожаление и интерес. Все это возбуждало, во мне какое-то странное и пристальное чувство, трудно определимое и непохожее ни на одно из тех, которые я испытал раньше, или о которых я когда-либо слышал или читал. Она была деловито добросовестна; входила во двор, останавливалась и начинала петь, никогда не улыбаясь и не делая никаких жестов. Она напоминала деревянную поющую статую; спев три или четыре романса, она подбирала деньги, говорила — *merci m-rs dames*, — и уходила, унося свою идеально неподвижную, негнущуюся фигуру, и не поворачивая головы.

Я жил тогда в доме, который бросался в глаза прохожим, так как он был выстроен в мавританском стиле, что казалось по меньшей мере неожиданным в Париже; но таково было желание его хозяина, толстого и старого еврея, из разбогатевших подрядчиков, имевшего во всех областях искусства свой собственный, строго определенный вкус. В архитектуре его прельщал почему-

то мавританский стиль. Я снимал комнату в частной квартире у молодой, довольно красивой женщины, которая вела крайне рассеянный образ жизни. Меня поразило, в первое время моего пребывания там, то, что у нее все валялось из рук несколько дней подряд: она разбила салатник, несколько тарелок, две чашки, блюдечко и три стакана. Каждый раз, после звона разбитой посуды, я слышал, как она произносила тихим голосом всегда одно и то же слово, — сволочь! Я только потом узнал, чем объяснялось это количество вещей, которые падали из ее рук, она сама сказала мне об этом. Меня заинтересовал этот вопрос оттого, что такие несчастья случались с ней три, четыре дня в месяц, остальное время она ничего не разбивала. Она объяснила мне, что это совпадает с ее ежемесячными недомоганиями, это было, по ее словам, так же неизбежно, как головная боль или усталость. У меня, собственно, не было особенных причин подолгу с ней разговаривать; но после нескольких визитов ко мне Сюзанны, она однажды постучала в мою дверь, вошла и стала подробно излагать мне, почему мое поведение и то, что я принимаю у себя женщин, ей не нравится. Она находила, что это вообще плохо, что, кроме того, мой выбор кажется ей по меньшей мере странным, и что так поступать не следует. Ее страсть объяснять была совершенно неисчерпаема. Она составляла себе о человеке свое собственное представление, вполне определенное, и по которому выходило, что он должен жить именно так, а не иначе, любить именно то, а не другое, заниматься тем, а не другим, и так до конца, вплоть до манеры одеваться и выбора галстуков. И как только выяснялось, что человек, о котором шла речь, и который нередко даже не подозревал, что у нее есть по этому поводу какое-то мнение, делает не то, что он должен был бы, как ей казалось, делать, или одевается не так, как следует, это вызывало у нее в лучшем случае раздражение, в худшем — бешенство. Я был невольным свидетелем нескольких ее романов и слышал разговоры, которые она вела со своими любовниками и это всегда было нелепо и дико. Один из них был доктор по женским болезням, и я как-то, проснувшись ночью и закурив папиросу, услышал сквозь тонкую стенку их диалог.

— Пойми меня, Сережа, — говорил ее голос, — я не хочу тебя обидеть.

— Я понимаю, — сказал голос доктора.

— Вот ты видишь статуэтку женщины, сделанную из бронзы. Что это, по твоему, такое?

— Статуэтка женщины.

— Ведь правда, что это не носорог, не сфинкс и не лошадь?

— Правда, — сказал доктор. Он был вообще человек скорее меланхолического типа, очень приличный, тихий и вежли-

вый. Он отвечал ей ровным голосом, заранее соглашаясь со всем, что она говорила.

— Ну вот. А ты доктор по женским болезням.

— Да.

— И в этом заключается твоя ошибка.

Кто-то из них повернулся на диване, под ним щелкнула и зазвенела пружина и сквозь голос моей хозяйки я слышал еще несколько секунд этот стихающий звон.

— Почему?

— Ты должен быть хирургом.

— Почему я должен быть именно хирургом? Меня к этому совсем не тянет.

— Ну как же ты этого не видишь, — сказала она с раздражением, — как ты этого не понимаешь? Ты должен быть хирургом, это ясно совершенно.

— Ну, Леночка, это же фантазия.

— Нет, милый мой. Ты думаешь, это хорошо, что к тебе ежедневно приходят женщины, садятся на твое отвратительное кресло и показывают тебе свои прелести? Что в этом хорошего, я тебя спрашиваю?

— Но это же работа, Леночка.

— Как ты этого не понимаешь?

— Тише, Леночка, ты разбудишь соседа.

— Это животное? — сказала она. — Он спит, как мешок. Ты знаешь, он засыпает с горящей папиросой во рту, он мне прожег две простыни, слава Богу, что пожара не было. Но вернемся к началу нашего разговора.

— Я ничего против не имею, — ответил доктор. Произошло движение, опять раздался звон пружин и через несколько секунд ее смеющийся и раздраженный голос сказал:

— Подожди, я должна тебе объяснить. Тебе следует быть хирургом. Ай, больно!

Потом я заснул, докурив папиросу, и больше ничего не слышал.

С ней случилась вскоре после этого очень странная вещь: она исчезла. Проходили дни и недели, она не возвращалась. Через некоторое время начали являться разные люди, — агент общества швейных машин, агент страхового общества, представитель магазина мебели, принесший два неоплаченных векселя, потом булочница, потом управляющий домом; все они приходили чаще всего утром, когда я спал. Я вставал, надевал пижаму, отворял им дверь, и объяснял в одних и тех же выражениях, что все это меня не касается. Я прожил так около трех месяцев, совершенно один, в чужой, собственно, квартире, и, наконец, уехал оттуда, потому что постоянные визиты всевозможных агентов

и объяснения становились невыносимы; и когда я перестал отвращать им по утрам, они начали приходить после обеда.

Я встретил ее через два года, на юге, на берегу моря. Она сидела, наполовину зарывшись в песок, в купальном костюме и пристально смотрела вдаль. Едва я успел с ней поздороваться, она, не отвечая мне, сказала с раздражением:

— Я ему объясняла, что нельзя так далеко заплывать, все может случиться, — и тогда в каком глупейшем положении я окажусь, вы понимаете?

Я посматрел туда, куда смотрела она: далеко в море, то показывалась, то скрывалась голова плывущего человека. — Да, ведь вы ничего не знаете. Вы мне должны деньги за комнату.

И она рассказала, что внезапно вышла замуж и уехала на юг; то есть, вернее, сначала уехала на юг, потом вышла замуж, а квартиру она бросила потому, что там ничего ценного не было. — После того, что мы потеряли в России, вы понимаете... И не смотрите на меня такими дикими глазами. И зачем вы носите на голове этот идиотский чепчик вы, может быть, думаете, что это красиво?

— Вы вышли замуж за хирурга?

— Почему непременно за хирурга?

— Не знаю, мне почему-то казалось, что за хирурга.

— У вас ветер в голове, мой милый. Вы продолжаете вести такую же беспутную жизнь?

Я не успел ответить, она вбежала в воду, нырнула и поплыла по направлению к мужской голове, которая приближалась к берегу. Я лег на песок, закрыл глаза и пролежал так минут десять. Когда я их открыл, ее не было.

Я не знаю, встречу ли я ее еще когда-нибудь и если встречу, то где. Иногда в моем воображении возникают смутные очертания какого-то дома в неопределенном стиле, доносится чуть слышный звон пружин под ее телом, и я вижу грустные тени ее кредиторов и печальные лица ее любовников. Она пересекла мою жизнь, — в стремительном и абсурдном движении, — и опять ушла в тот вздорный свой мир, который пролетел мимо меня, как отрывок чьего-то длительного и непонятно-смешного сумасшествия.

Через некоторое время я пошел в то ночное русское кабарэ, где часто бывал Федорченко и о котором мне рассказывала Сюзанна. В моей жизни было несколько вещей, которым я никогда не мог сопротивляться: это были некоторые книги, — я не был способен оторваться от них, если они попадали в мои руки, это было женское лицо, которое много лет неизменно, — где

бы я ни жил, и как бы я ни жил, — появлялось передо мной, едва я закрывал глаза, это были еще, непреодолимо притягивающие меня, море и снег; и это было, наконец, ночное пение, гитара или оркестр, кафе или кабаре, и пронзительно печальные звуковые ухабы цыганской песни или русского жалобного романса. Я знал наизусть эти, нередко нелепые и смешные сочетания слов, невозможные ни в одном, сколько-нибудь терпимом стихотворении, эти неприемлемые почти для любого вкуса разлуки, мечты, очарования, цепи, расставания, цветы, поля, слезы и сожаления: но сквозь эти слова струилась та славянская и непобедимая в своей музыкальной убедительности печаль, без которой мир не был бы таким, каким я себе его создал. Это было своеобразное и безвыходное очарование, которое бесконечно шло точно по звучной музыкальной спирали, и с каждым новым кругом проходило мимо тех же чувств, которые были задеты раньше и которые словно стремились, в мучительной и бесплодной попытке, следовать за удаляющейся, медленно улетающей мелодией. Нечто похожее, мне казалось, было в тех тонких деревьях, которые гнулись по ветру и все точно пытались лететь за ним, — когда бывает буря и когда все, что не создано неподвижным, уносится непреодолимым движением воздуха. В этом было еще напоминание об ином, исчезнувшем мире, о конце прошлого и начале нынешнего столетия, когда время шло так медленно и когда история одного в сущности, незначительного чувства могла наполнить всю жизнь. Это было еще видение далеких вещей: летние поля и сады под луной, запах цветов и скошенного сена, синее-белое сверкание звонкого, как стекло, снега, ямщики, лошади, дуги, колокольчики и звуковые тени, доносившие до нас эти чужие воспоминания о людях, которые давно умерли и которых мы никогда не знали. Но главное, после этой музыки наступали минуты особенного, чувственного бессилия и беспредметного исступления, непохожего ни на что другое. После этого можно было совершить поступок, которого не следовало совершать, сказать слова, которых не нужно было говорить и сделать какую-то неудержимо соблазнительную и непоправимую ошибку.

Кабаре, в которое я пришел, было таким же, как многие другие русские кабаре, отличавшиеся только большей или меньшей роскошью — или бедностью, — отделки. Здесь был такой же оркестр, — скрипач, виолончелист, пианист, — такая же небольшая эстрада, поставленная вкось, точно немного съехавшая со своего обычного места. Там было два певца и две певицы, все со звучными фамилиями, но главной была Катя Орлова, уже немолодая, накрашенная женщина в черном, трагическом, очень открытом платье, — и за первым столиком, с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра, сидел широкоплечий, плотный человек в смокинге и черепаховых очках, голландец, ее теперешний

любовник, с неизменной бутылкой шампанского. Я случайно знал эту женщину, у нее была бурная и легкая жизнь; она удивила меня тем, что когда я с ней познакомился и разговорился, — цитировала стихи Анненского и Рильке и вообще знала много вещей, о которых кабаретная певица обыкновенно не имеет представления. Она была пьяна в то утро, прозрачно откровенна и доверчива и рассказывала мне о своей жизни — о гимназии, о Петербурге, Флоренции, Дрездене, о довоенном Париже, о пансионе в Англии, где она училась, и о многом другом. Она была некрасива, только глаза ее были очень хороши; у нее был низкий и небольшой голос, которым она владела с инстинктивным и безошибочным даром, никогда не у кого не учась. Она потом забыла и то раннее утро, когда мы с ней познакомились, — это было в кафе, после ночного ресторана, нас было не меньше десяти человек, — и стихи, которые она мне читала, и мое лицо, и никогда не узнавала меня во время моих посещений очередного кабаре, где она выступала.

В ней было нечто вроде необъяснимого и, как это иногда бывает, почти электрического очарования, и я помню, что однажды незнакомый и совершенно пьяный человек сказал мне о ней вещь, которая поразила меня своей случайной точностью, именно, что когда она начинает петь, то получается впечатление, будто включен ток. Позже я узнал, что он был инженер, специалист по электричеству, и что он был далек от желания ее как-то особенно определить, а просто воспользовался наиболее привычным для него термином.

Если бы нужно было в одном слове сказать, о чем всегда пела Катя, во всех ее романах и на всех языках, то трудно было бы найти что-либо, что подходило бы более точно, чем слово "сожаление". Я думаю, что в этом заключался для нее весь ее личный опыт, как у большинства людей, которые достаточно развиты и умны, чтобы понимать отвлеченные вещи, но в которых нет силы для создания новых чувственных систем, — силы, нередко свойственной другим, более примитивным. Во всяком случае, это был всегдашний смысл Катиних песен, ее "ключ", как выразился один мой знакомый, говоря о ней. И это было — в последовательности душевных катастроф, — то, чего не мог не понять Федорченко, постоянный ее слушатель. И вот, постепенно, в силу странной и непобедимой случайности, каждый раз, через ночь, он погружался в этот минорный, звуковой туман, и начинал невольно переживать потерю всех тех вещей, о которых пела Катя, и которых у него никогда не было, так как он никогда не знал ни этих троек на снегу, ни аллея старого сада, ни потерянной любви, ничего из всего этого печального и вздорного мира. Я видел, как он сидел, тяжело подперев голову рукой, и глядя неподвижными глазами на эстраду и черное платье Кати.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

УЕДИНЕНИЕ

ИЗ КНИГИ "ДНИ"

1941

Апрель

Весна, тепло наконец, солнышко. Это уж благо бесспорное, что бы ни случилось. Бесспорна прозелень леса Булонского, то впадающая в желтоватость, точно пух цыпленка выдупившегося, то настоящая, острая, нежная. А то увидишь лилово-цветущее дерево. И пахнет лесом, весной — слабей, чем в России, а все-таки...

И всюду в Париже весна. Но нет радости. Да и Парижа настоящего нет.

Париж был, и апрель был, тридцать четыре года назад — первая встреча. Давно! Целая жизнь. Молодость, первая книжка, первый успех — все еще впереди.

Мы поселились тогда в пансиончике на *rue Notre Dame des Champs*, но там не столовались. Только утром пили кофе, а потом уходили на целый день: путешественники из Москвы, все надо посмотреть, везде побывать.

Апрель выдался холодный, это удивляло. Забрались в такую Европу, а приходится камин подтапливать! И часто дождь.

Комната небольшая, с зеркалом в золоченой раме над камином, с бронзовыми часами на нем, необъятная кровать с пуховиком, все, как полагается во Франции. Коридорчик такой узкий, что вдвоем трудно разминуться, вниз винтовая лестница, очень чистая, с ковриком, но тоже теснейшая. В таких отельчиках на Монпарнассе больше жили иностранцы — вроде нас, артистический круг: датчане, норвежцы, англичане. Е. А. Бальмонт показала нам вблизи ресторанчик, на *Boulevard Raspail*. Там всегда тоже художники, студенты, молодежь. Мы нередко завтракали тут — в тесноте, смехе, веселом духе богемном.

Был-ли я робок, или вообще деревенщина, но меня смущали шум, многолюдность, громадность Парижа, его толпа. После

Притыкина и Москвы это воистину столица! Как-бы облик человечества. Оно движется, толпится, гудит, в положенные часы завтракает и обедает — в нем теряешься.

Были уже автомобили, но мало. Вид их показался-б теперь уродливым, как странны и дамские шляпы того времени, моды — все вообще по иному. Все-же Париж был живой, полный, сам себе господин, нравится он тебе или нет — это Париж, мировой город.

Более тихие места в нем я любил — Люксембургский сад, галереи Одеона с книгами. Из Парижа мы направлялись в Италию. В этих галереях, букинистами разукрашенных, среди разных Мольеров и Расинов я нашел что мне надо: историю живописи итальянской, Лафенетра; книжку немудрящую, со скромными гравюрками, которую все-же усердно читал в свободную минуту у себя на rue Notre Dame des Champs, И Люксембург, парк его, музей, книги Одеона, Обсерваторские аллеи так и остались в памяти образом Парижа артистического. Интересно ведь **узнать**, особенно в том, что нравится.

К Италии сильно влекло, вот и радостно было увидеть Леонардо в Лувре, прочесть о Сано ди Пьетро и в Шантийи встретить его *). Так уж устроен человек — наделен жаждой. Даже сейчас не хочется упустить дня, чем-то овладеть новым. Потому и читаешь, и лекции слушаешь охотно. Но тогда, ведь, в Париже, жизнь не кончалась, а лишь начиналась. Сколько хотелось присвоить из чудесного Божьего мира!

Париж тогдашний, хоть не всем мне понравился, в памяти все-же сохранился с лучшей стороны. Может быть, именно со стороны вековой школы артистизма. И собственная молодая жизнь сливалась с этим духом Парижа: жажда познания! — под таким знаком принял я Париж.

Почти месяц прожили мы в нем. Сил было много. Бегали с утра до вечера. Побывали в таких музейчиках и местечках, куда потом за шестнадцать лет жизни не привелось заглянуть.

Какое тогда было передвижение в Париже! Метро всего две линии: поперечная да круговая. Но и круговая неполная: от Этуали можно доехать только до нашего бульвара Распай.

Метро это нагоняло на меня некоторый ужас: так быстро несет, такая толпа на перроне! (Запомнился навсегда запах: был обычай посыпать станции порошком мыла миндального. Запах миндаля).

Для моего ритма больше подходили omnibusы. Мы любили забираться у Одеона на империал. Краснорожий кучер с бичем, здоровенные лошади — отплывает ковчег с левого берега к Мад-

*) Теперь эта вещь приписывается Сассетте.

лэн и Опера. Кучер покрикивает, колеса гремят, верх наш слегка покачивается — неторопливо плывет мимо нас торопливый, многошумный Париж. Девиз корабля-же нашего с моим совпадает: “спешить некуда”.

Среди этой юной, пестро-студенческо-путешественной жизни осталось и воспоминание меланхолическое. Раз зашла к нам Е. А. Бальмонт, сказала:

— Знаете, тут рядом с вами умирает Гюисманс.

И добавила: умирает мучительно, у него болезнь глаз, ему зашили веки.

Как молодой литератор российский просвещенного круга должен был я иметь понятие о Гюисмансе. И имел. Читал еще в Москве «A rebours» — без удовольствия. Все-же был это “наш”, настоящий писатель, и так страшно умирает. Проходя мимо дома его на rue Notre Dame des Champs, все представлял себе — как это с зашитыми веками...

А в конце концов умер Гюисманс, мы этого и не заметили. Мы были полны собой, своей цветущей жизнью, впереди Италия, сзади могучая Россия. Именно, что могучая. И живя поднебесно, как жаворонки, мы не тревожились в Париже, хотя день-ги прожили почти что все. Ничего! Издатель выручит.

Приближался и наступил май. В. купила себе за 28 франков летний костюм, я тоже летний, белый в полосочку за 10, и чтобы тронуться во Флоренцию заняли мы у Е. А. 400 франков.

Дождь лил в тот вечер, когда мы садились у дверей пансиончика нашего в извозчичью каретку. Толстомордый кучер, налитый красным вином, в резиновой накидке и цилиндре, с бичем... — и огни Парижа сквозь окно в слезах, Gare de l'Est, поезд, бешеный ход его, ночной крик с платформы: Труа! а потом, утром: Бельфор! И уже днем Швейцария, днем Сен-Готар, где едят бутерброды на станции перед туннелем — от высоты в ушах слегка шумит.

А затем, после длинного туннеля полоумный, в свете, тепле, радости-восторге лёт к разным Беллинцонам, Лаго-Маджоре: Италия!

Как-же не благодарить мне Бога, что даровано было столько прелести и красоты, что дана была легкая юность, любовь, искусство, райский месяц май 1907 года во Флоренции и Виареджио, Равенне и Венеции. С раем этим я и умру.

Май

Двадцать месяцев не выезжали из Парижа, с начала войны. А вот теперь выехали. “И равнодушная природа красую вечною

сиять". Вряд-ли природа равнодушна, и сияла она этой весной очень живо и жизненно: белым, лилейным одеяньем цветущих вишен, груш — сады залиты цветением. Спустишься из дома, понюхаешь: груши слабо пахнут, жалостно. Вишни-же вовсе "безуханны".

Очень нежны и воздушны, и тоже одухотворенны, дали со взгорья — светло-голубеющие, светло-зеленеющие, все легкое, мягко размытое, сливающееся в слабый весенний туман. Кое-где коричневые загоны, ярко-желтые полосы — сурепица? Но все именно живое, а не "равнодушное", дышало, имело смысл.

Два года назад, в этом доме, мы проводили последние дни перед войной, отсюда выезжали в Авиньон — последнее мирное путешествие. После нас в доме стояли германские войска. По внешности будто ничто и не изменилось... — только вот хозяйка не пережила войны, бегства. Теперь лишь тень ее в доме. Да доброе и грустное воспоминание.

Конец апреля все-таки дохнул холодом, напомнил апрель молодости нашей, в Париже. Но в день отъезда, вот теперь, в мае, опять чудное солнце, тепло. Как некогда ездили мы на лошадином омнибусе от Одеона к Мадлэн, так теперь на огромном, майски-лоснящемся коне неторопливо катим на станцию среди легчайшей прозелени полей. Очень жаворонки старались в вышине! Да и правда, хорошо им петь в таком сиянии. Вот уж, действительно — "Слава Тебе, показавшему нам свет".

Всегда мне казалось, что жизнь — смена странствий, вплоть до последнего.

Так и теперь. Скромнейший поездок местный долго влек нас к Парижу среди бледно-желтеющих, опушенных тополей, узкого серебра Ионны, мимо собора Санса: то, что называется в Италии *treno omnibus* — сколько милейших воспоминаний связано с такими *treno* где нибудь под Сиенной, Падуей! Так что приятно было ехать.

Но в Италии был тогда мир. Именно благоденствие и тишина, крестьянские соломенные шляпы, фиасочки вина на станциях, корзинки винограда... — Тут тихо тишиною пустыни.

Есть и следы войны — взорванные, наскоро починенные мосты, здания с выбитыми окнами, разрушенный старинный виадук. На остановках: ни газетчика, ни лимонада, ни вина, ни кусочка съедобного.

Наши убогие вагончики постукивали - себе постукивали на стыках рельс да и доставили нас, с двумя дюжинами деревенских яиц и куском сыра в Париж, отметив еще один перегон скоротечной нашей жизни.

Июль

Завтра память св. Владимира. Сорок лет назад в этот день преломился мой путь: были двадцать весен, двадцать зим, потом кто то произнес: “Новая жизнь” — дунул на меня — и она началась.

Дуновение шло и раньше, но малозаметно, а теперь сильно польхнуло, припечатало. Первый появившийся рассказ! Первая подпись (кипятком по сердцу, по ногам), сумасшедшее волнение весь день, из гордости скрываемое: да, стал писателем.

Недавно сказала дама: “что-же теперь о себе раздумывать, когда с Россией такое происходит. Мы ничто. Нас может волновать и занимать лишь родина”.

Согласен, очень благородно. Но у меня благородное не выходит. О родине постоянно думаю, ежедневно о ней моллюсь, но о себе забыть не могу. Дама может меня укорять. Что-же поделашь! Мало-ли за что еще можно меня укорять.

Я и сам удивляюсь: решаются судьбы России, пожалуй, что и Европы, а я вот живу себе в бургундской деревне, в старинном отличном доме, в тишине и удобстве. В сущности, веду жизнь барскую. Выхожу в поля как бывало в Притыкине. Наслаждаюсь зеленым великолепием леса, грибным запахом, золотом заката, золотом света сквозь зелень (положительно, свет сквозь зеленую листву мой друг. Я заметил это давно, в Провансе). Мало-ли еще что радует: спелые вишни на деревце, сова в сумерках, голубая вуаль далей, простор и безмолвие комнат. (Молчаливые и обширные комнаты — великая роскошь, красота жизни. Всегда это нравилось. Особенно на Афоне ощутил. В монастырской гостинице: пустынные коридоры, тихий мой номер, балконы в цветах, огромная зала-гостиная прежних приемов. Я подолгу гулял в ней, в одиночестве, по мягкому половичку, среди теней ушедших игуменов, митрополитов, великих князей, чьи портреты висели по стенам).

Завтра приезжает архимандрит К. Его комнату, за стеной, рядом с нашей, мы называем “архимандричьими покоями”. Из нее дверь, две ступеньки вниз, там вроде келийки, будущая домовая церковь. Сейчас в ней еще голо, пусто, один Лик Спасителя над скромным столиком, где лежит Псалтырь да несколько свечей (здесь о. архимандрит служил уже панихиду по покойной хозяйке дома).

Эту часовню называем мы Sainte Chapelle и по утрам ходим туда. Очень хорошо! Никогда раньше не приходилось вот так... — Начинаешь понимать, как прекрасны и нужны были в настоящих замках домашние церкви и капеллы.

И опять все это только **твое**, твоя жизнь, а не родина. Опять, значит, вразрез тому, что дама говорила.

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

ДЕТСКИЕ СТРАХИ

Повесть

ПСЕЛ

Иногда ранней осенью бывают дни, когда солнце светит сквозь пелену серебряной пыли и тогда еще не успевшая поблекнуть трава, листья кустов и деревьев, стены деревенских домов и узкая дорога — кажутся серебряными. Кое-где видны среди еще свежей зелени желтые листья, будто лимоны или апельсины жарких стран. Вспоминается южное море. Но то, что видишь здесь, в эту раннюю осень, лучше природы юга. На севере Франции бывают прекрасные осенние дни. Солнце, которого не бывало здесь все дождливое лето и которое раскаляло асфальты Ниццы, выжигая все, что было свежим и зеленым на земле, для того, чтобы море казалось еще более синим, решило заглянуть к нам. И увидев, что нет у нас синего моря — осветило последнюю зелень мягким, ласковым светом.

В такой день мне пришлось в голову рассказать простую, но поразившую меня, историю. А еще помог мне припомнить случившееся серый котенок, игравший на столе и которого случайный луч солнца превратил в серебряный шарик.

Летят дни и годы, натянутая струна жизни вздрагивает под тяжестью маленького человека-акробата. Идет он по ней вперед, то быстро перебегая несколько шагов, то останавливаясь и глядя на уже пройденный путь. Иногда он с напряженным вниманием смотрит вперед, но и начало и конец натянутой нити теряются там, где небо решилось прикоснуться земли. Иногда кажется, что струна оборвется и человек-акробат не то упадет вниз, не то, зацепившись за оборванный конец, улетит с ним, держась крепко за еще звенящую струну. А вдруг он сейчас в эту минуту, сам прыгнет вниз?! Нет, он взмахнул руками, изогнулся мускулистым телом, чудом удержался и вновь зашагал вперед.

Мать, ты ласкаешь сына своим взглядом и следишь, как идет он, теряясь на горизонте. Но я отец и должен идти вперед. Сегодня я остановился и вспомнил быструю реку Псел.

Бугор, покрытый чебрецом и высохшей мятой, кое где почти совсем выжжен солнцем. Трудно босыми ногами идти по колючим растениям, но ближе чувствуешь себя к ним и к земле, а когда дойдешь до бархатной лысины желтого песка, думаешь, что тут и отдохнешь. Но песок огненный, и в припляску перебегаешь вновь к колючим растениям, чтобы, отнимая у них последнюю влагу, идти дальше, пригибая их молчаливые лиловые головки.

С этого бугра видно темно-зеленую полосу ольхи, окружающую Старый Псел. — Старый Псел — всего-на-всего бывшее русло нового Псла. Когда-то здесь текла, между песчаных откосов, веселая шумливая вода. Но теперь высокие ольхи прячут мутной пылью покрытую воду, и острая осока поднимается вдоль берегов, не видно течения, не слышно шума. Наверное, природа решила дать покой уставшей реке. За полосой ольхи тянется бесконечный луг, до самого Кургана и Азака. Местами луг от ядовитых лютиков совершенно желтый, местами весь розовый, как будто и нет никакой травы, а только луговые гвоздики. А дальше становится он все зеленее, покуда зелень не доходит до изумрудного цвета. За изумрудной травой протекает новый Псел. Его не видно даже с высокого бугра. Низко его русло между отлогих берегов. Не отгадать, что между зеленью и желтым песком живет неведомая сила. Но как же не знать, что Псел, торопясь и сверкая, широкой дорогой протекает именно там. Мы все знаем, что это от его правого берега поднимается ржавый Азак, лиловато-розовый Курган, и уже совсем с краю — белый откос Червлених — меловые горы с темными жилками, — как будто молния летней грозы, ослепительная на черном небе, но здесь черная и еще более страшная, застыла на снежном меловом откосе. Нельзя ни рассказать, ни передать красками то, что видишь. Можно только часами, не двигаясь, глядеть перед собою и только потом, много лет спустя, улыбнуться кому-нибудь, помочь другу или простить недругу. Потому что так хорошо то, что видел.

Сегодня мы идем к реке веселой толпой. Нас много. Девушка Лена, девушка Нина, девушка Оля. Оля. Что такое Оля? Да ведь эта та самая Оля, которая, родивши на свет малень-

кую капризную девочку, умерла. У Оли лицо совсем белое, щеки и подбородок чуть розовые, а глаза — да ведь глаза действительно совсем черные. Она все время удивленно улыбается, все вокруг нее ласково и радостно. Когда я смотрю на Олю, то кажется мне, что, если протянуть к ней руку, то далеко еще не коснувшись ее, я уже коснулся Оли, которая вокруг нее. Неужели вы думаете, что она умерла? Когда она жила, я знал, что она не может умереть.

А Лена тоже всегда улыбается, потому что не может не улыбаться, она уже такой родилась. И это неправда, то, что ей говорила мать: “Ты всегда улыбаешься, морщины у тебя будут вокруг губ и будешь казаться старой”. Ошиблась мама. Морщин этих никто не видал, потому что никто не видал Лену не смеющейся.

Нина совсем другая. Она все прячет в себе и уже когда заговорит или засмеется, то все слушают и удивляются. А потом — Нина, как Нина, и даже в голову не придет, что она своим юным плечиком может поднять камень, который сотня человек сдвинуть с места не могут.

Но ведь это только три, а еще идут с нами: Люся красавица, Милица сердитая, — та, которой бабушка всегда приносит вязаную кофточку, как только заходит солнце, — Симма, которая быстрее всех бегают, другая Лена — всегда с книжкой и Антонина Николаевна, двадцати лет, но уже замужня.

А еще Аксютка, дочь нашей кухарки, из всех нас самая хитрая. Аксютка тем знаменита, что сама научилась читать и писать. Но только — случай непредвиденный — натолкнулась на букву “ё” и тут спросила все-таки, как эту букву пишут, а узнавши, что так же, как “е” — возмутилась и бросила учиться, но потом выдумала для обозначения этой буквы свой собственный значек.

Ну, вот, это наши дамы. А кавалеры — может быть, не стоит о них. Ну, все равно, заодно и о кавалерах.

Студент Демка — “Пугачев”. Это он потому “Пугачев”, что всегда его заставляли спугивать женщин. На После почему то все купались на одном и том же месте. Может быть, песку больше или течение тише, или так, по привычке, но, во всяком случае, купанье было здесь. Женщины купались до четырех, а мужчины — от четырех. А когда женщины черезчур закупаются и никакие мольбы и крики не помогают заставить их встать с горячего песка и, окунувшись в последний раз, одеться и уйти — тогда посылается Демка. Во-первых, он лохматый, как леший, а, во-вторых, он может плыть под водой так же хорошо, как на поверхности. Вот, он разденется где-нибудь далеко-далеко и под водою к самому пляжу подплывет, вынырнет и хохочет. Ко-

нечно, женщины кричат и разбегаются. Демка еще писал стихи и всегда сам чинил себе сапоги “из принципа”.

Андрей — человек высокого благородства, преданный до самозабвения женскому полу. Лена один раз говорит: “Андрюша, съешь гусеницу — поцелую”. А он взял да и съел. А Лена так-таки и не поцеловала. Это большой грех — ей дурно сделалось. Да и всегда дерзал на всякое дело по слову красавицы. Конечно, не про него писал Шиллер. Какая уж там в лицо перчатка — он бы и еще раз за ней на арену сбегал...

Дмитрий Сафонович — толстый господин, веселый, но строгий. Газету в воде читал. Лежит на спине и читает. Только кончики ног видны и газета. Скажете — неправда, но спросите Сергея Павловича. Он теперь пожилой человек, инженер, все его уважают. А спросите про газету — тоже расскажет, да еще весь оживится, объяснять начнет все, как это было, глаза даже засверкают. А тогда Сергей Павлович был еще просто Сережка. И уже тогда все предполагали, что он обязательно будет инженером.

Еще Гриня, умница превеликая. На медные пятаки учился, а такой знающий. Когда о чем заспорят и уже никак не решат спора — у Грини спросить надо: “Скажи, Гриня: вот он говорит, что если натянуть ниточку, такую тонкую, что и глазом не видно, и если эта ниточка такая крепкая, что порваться не может, — то, вот он говорит, что если слон через нее пройдет, то ничего не заметит, хотя она его перережет”. Гриня отвечает внятно и спокойно: “Вы глупы”. И все мечты рассыпаются. Сережа, математик, еще пробует сказать: “Но ведь это же подход к четвертому измерению!..” Но уже пафос спора рассеялся и все как то стало ясно и уютно.

Был с нами еще Коленька. Неизвестно было, что он такое, этот Коленька. Но говорили, что у него доброе сердце. Вася, курчавый блондин, Борис, самый храбрый, и Константин — оперный певец. Самый старший — Дмитрий Сафонович, сорока восьми лет. Самый младший Коленька, одиннадцати лет.

Шли весело. У Дмитрия Сафоновича мохнатое полотенце — один конец на плече, а другой за поясом. Хотя шли мы не купаться, а на трех лодках ехать под самый Азак, с тамошними мужиками ловить неводом рыбу.

По дороге случилась одна незначительная история. Всегда как-то так получается, что корзинку с провизией или Милицыну кофту или неизвестно зачем взятый Дмитрием Сафоновичем зонтик, — приходится нести мальчишкам, а взрослые выбирают, хотя с виду предметы большие, но гораздо более удобные. Весла,

например, или шест какой-нибудь. Но ведь это и мальчишке сподруки — и прыгнуть можно, и верхом прокатиться. А тут Коленька нес корзину с пирожками, а Вася снял сапоги и говорит: “Подержи-ка”, а сам пошел вперед. Хотя сердце у Коленьки доброе, но он возмутился обманом и сказал, что сапогов не понесет. Вася идет и посмеивается. Тогда Коленька положил сапоги на тропинку и сказал: “Вася, не понесу!”. “Это еще что, — говорит Вася, — мальчишка взрослых не слушает. Неси, бунтовщик!”. А надо сказать, что они разговаривали и шли вперед, а сапоги все удалялись, и когда совсем скрылись, Вася понял, что бунтовщик не пойдет за ними. Тогда начался длинный, неприятный разговор. Чем бы он кончился, я не знаю. Но Оля вдруг повернулась и пошла назад. И тогда все уже побежали за ней. Она бежала и смеялась. Коленька обогнал всю группу, поднял сапоги и уже безропотно понес их, так как теперь нес их для нее.

Есть по пути к новому Пслу, мост, сложенный из досок, прибитых к кривым столбикам. Под мостом, неведомо откуда, течет прозрачная быстрая вода. Здесь совсем мелко. Вокруг обточенных камней вода поет свою веселую песнь. Если закрыть глаза, то кажется, будто играют любимый мотив на детской гармонике. В прозрачной воде мелькают пескари. Временами они собираются группами, будто кто-то командует ими — так ровно, спокойно плывут они. Но, вот, один сверкнет стеклянной стрелкой — и все рассыпятся врозь. И вдруг через мгновение опять выстроятся в стройный треугольник, подплывут к большому камню, с любопытством исследуют его со всех сторон. Если стоять в воде тихо, без движения, все эти рыбешки подплывут к вам и начнут осторожно, внимательно осматривать загорелые ваши ноги. Сначала одна рыбешка только коснется и скроется. Потом смелее и смелее. И вот уже вся стая вокруг вас. А посмотрите — два пескаря будто совещаются об этом странном явлении. Они пускают пузырьки и глаза их строго-деловиты. Но стоит шевельнуться — стая исчезнет и только песчаное дно, покрытое ракушками и обточенными водой камнями, будете видеть вы.

Наша команда разделяется на два лагеря: любители идти вброд и любители идти по шатким, неизвестно какой силой держащимся на столбиках доскам. Смеются все, кроме Андрея и Коленьки. Андрей всегда на своих плечах переносит тех, кто боится идти через мост, и тех, кто ленится снять башмаки, чтобы идти вброд. А Коленька не смеется потому, что ему некогда смеяться. Он любит все, что окружает его. Задумчивая улыбка застыла на его лице. Это он стоит и смотрит на стеклянные стрелки во-

круг его ног. Когда он двинется, чтобы идти за другими, он и тогда будет смотреть на белую пену, на брызги воды, на ракушки и камни. — Я знаю этого мальчика, он все замечает, ничего не пропустит. —

Но вот мы уже на том берегу. Здесь сразу все по иному. Растет только лоза или ракета, да серые пушистые лопухи. Тропинка такая узкая, что можно идти только по одиночке.

Непонятный речной запах. То ли от влажного песка, то ли от бесконечных хрустящих под ногами раковин, то ли ракета тонкая, стройная, гибкая, дышет этой свежестью. Лоза или ракета — это ни дерево, ни кустарник, ни камыш. Тонкие прутики ее, зеленые, красные, синие, наперебой тянутся к солнцу своими однообразными длинными листьями. Если, кто идет впереди, пригнет одну ветвь и отпустит ее, она больно ударит вас по лицу, но ранить она не может — и рассердиться не на кого. Если это Олю хлестнет тонкая лоза, Оля просто улыбнется. Лена засмеется и скажет: “Ой”. Нина догонит идущего впереди и даст ему подзатыльник. А мужчины говорят всегда одно и то же: “Эй, вы там, потише”. А когда придержишь рукой синий прутик и присмотришься к нему, то увидишь, что весь он покрыт нежной пылью, как крылья бабочки. Если отпустишь, его, останется на нем блестящий след от пальцев и станет не то стыдно, не то неловко, потому что нарушил безукоризненность природы.

Сзади всех нас конечно, Коля. Первый впереди его Дмитрий Сафонович. Между ними завязался невозможный разговор. Мальчишка утверждает, что никакого потопа не было. Потому что, если бы был потоп, то одного количества воды было бы недостаточно для того, чтобы все живущее погибло.

— “Куда же”, говорит он, “Дмитрий Сафонович, делись бы рыбы? Ведь они чувствуют себя в воде лучше, чем на земле. А крабы, лягушки, раки?”

— “Не знаешь ты, молодец, Писания. Сказано, что все, “что имеет дыхание в ноздрях”..., а рыбы дышат жабрами. Понял?”

— “Нет, не понял, за что же такая несправедливость, а потом тюлени, крокодилы, белые медведи... И разные ведь бывают, которые не жабрами, а ноздрями. Они что ж?”

“Ишь, сакраменто!” — Смеется курчавый Вася.

Дмитрий Сафонович думает и говорит:

— “Постой, одни живут в пресной воде, а другие в соленой, а тогда наверное все смешалось. Вот они и погибли”.

Но здесь уже вмешалась Леночка, та, которая с книгой.

— “Вот уж объяснили. Да есть рыбы, которые и в пресной и в соленой воде живут — угри, например”.

— “А вы, Елена Борисовна, не помогайте, и так уже плохо приходится”.

— “Как же?”, напряженно настаивает Коля.

— “У Грини спроси. Может, тогда угрей то и не было”.

— “Скажи, Гриня (так всегда к Грине обращались), вот пристал с ножом к горлу мальчишка. Расскажи ему про потоп”.

Гриня, слышавший разговор, ответил:

— “Есть много оснований предполагать, что дождь был ядовитый”.

Коленька задумался и уже задал вопрос самому Грине и уже по другому поводу.

— “Скажи, Гриня, ведь если взять не только всякой твари по паре, а по одной, то ведь ковчег должен быть, как отсюда до Москвы, а говорят, что он был из дерева сделан”.

Гриня опять ответил:

— “В Библии сказано: по роду их, а это значит, лев, тигр, леопард животные кошачьей породы. Следовательно, достаточно было взять двух котят и так же поступить и с другими.

— “А!”, воскликнул Коля и весь просиял.

Гриня пробурчал себе под нос:

“Чем только не забивают голову ребенка”. И потом весело обратился к Коле:

— “Расскажи нам лучше что-нибудь из личной жизни”.

Все рассмеялись и Коля тоже.

В это время прутья лозы начинали редеть, тропинка становилась шире. Плечи желтого песка виднелись все чаще. Подул какой-то новый радостный ветер. Мы подходили к Пселу. Еще один поворот, и вот перед нами песчаное поле. Между отлогих берегов бодро, с сознанием всей возложенной на него роли, сверкая сотнями голубых глаз, торопил свои волны к далекому старшему брату — Днепру — Новый Псел. Его течение не было поспешностью. Если бы спешил он, то забыл бы многое; Псел ничего не забыл. Широко, размашисто сделал он выпуклый изгиб к широкому полю песка. Он плоско срезал берег, манящий войти в хслодные волны. Справа, под ивами, с разгону, подточил он упрямую землю, до самых корней деревьев и благодарные ивы все ниже склонялись к его водам.

Псел знал, что старые рыбаки придут к его берегу. Он остановил свои волны, и сделал тихую заводь, засадил ее тростником и золотыми кувшинками и покрыл зеленой пылью, застывшую в ожидании воду. Но Псел ревнив в своей красоте, его правый берег так высок, что ничего уже нет, на чем бы мог остановиться глаз и что не относилось бы прямо к чудной реке.

Не понять какая сила распахнула дверь в небо. Быстрыми прыжками заполняет оно пространство и уже бесконечность не

есть тоска по вечности, а радость о вечности. Но Псел упростил победное небо. Перед ним оно закрылось вуалью перистых облаков.

Теперь песок под ногами совершенно белый и ровный. Ветер расчистил нам широкую дорогу. Но, чтобы не сбились мы с ней, следы какой-то речной птицы тремя глубоко вдавленными пальцами, частой струйкой спешат к берегу. Под самой старой, совсем нависшей над водою ивой, привязаны три лодки: “Черепеха”, “Чайка” и “Хвыля”. Самая новая, самая лучшая и быстроходная “Хвыля”. Сделал ее Борис. Долго мучился он над ее названием. Борис придумал это название, но никак не решался окончательно остановиться на нем. Мать говорила ему: “Ну, что-ж, “Хвыля” хорошее название. Почему же не хочешь назвать ее так, как придумал?” На это Борис мрачно отвечал: “Все равно, назовешь ее “Хвyleй”, а девченки будут называть ее “Хвилькой”, а то и того еще хуже, “Филькой”. Наконец, после долгого раздумья, он написал на борту лодки белыми буквами “Хвыля”. Но вышло так, как он предполагал.

У берега начался спор, кому на какой лодке ехать. и все девушки, конечно, хотели ехать на “Хвyle”. А Коленька, слышавший, что плетью обуха не перешибешь, уселся с Дмитрием Сафоновичем на неуклюжую “Черепеху”.

Только под тяжестью такого грузного человека, как Дмитрий Сафонович, “Черепеха” нехотя качнулась и обнажила борт, покрытый черной, приятно пахнущей смолой.

Все уселись. И первое время казалось, что запутавшиеся весла, крики недовольных пассажиров и обнаженная до пояса фигура Андрея, — представляют собою абордаж средневековых галер, и что вот сейчас прольется кровь. Но ничего подобного не случилось.

Только, с отчаянным воплем, курчавый Вася, поскользнувшись, упал в воду. Засмеялись все, отчего с другого берега, из мохнатых лопухов снялся чернокрылый чибис. Плавно покачиваясь в струях свежего воздуха, он не спеша, поднимался к синему небу.

Пока все смеялись, Коленька уже стал серьезным, сощуренные глаза его следили за красивым полетом птицы. — Я знаю этого мальчика, он ничего не пропустит, он все замечает. — Сейчас он следит своими серыми глазами за белой пушинкой, которая отделилась от птицы и кружится не решаясь упасть на землю, ни улететь в высь. Так думает он, летают поздней осенью белые паутинки над скошенным полем.

Но вот три лодки с трудом отчалили. Впереди пошла узкая

быстроходная “Хвыля”, “Чайка” с красным бортом, не отставая, тут же позади. Сразу отстала “Черепаха”. На ней греб Димитрий Сафонович — куда ему за Андреем, Борисом или Демкой.

В “Черепахе” было всего три человека. Он сам, Лена, которая всегда с книжкой, устроившаяся здесь, потому что не любит когда “дергают и качают”, и Коля, севший на корму за рулевого.

Нежным кружевом тянется от кормы шлейф белой пены. Волны постукивают о борт лодки. Коленька сидит в пол-оборота. Солнце освещает его белобрысую голову, просвечивая маленькое ухо, которое от этого стало, как лепесток мака. Коля перегнулся через борт и опустил свою руку в воду. Вода серебряными лентами вьется вокруг его теплых, слегка потных пальчиков. Он тихо смеется, ему нравится, как от его руки, упругие струйки расходятся все шире и шире, сливаясь с волнами, отходящими от кормы по обе стороны лодки.

— “Рули...”, кричит Димитрий Сафонович, “...а то отстаем!”

— “Да уж и так отстали”, отвечает Коленька.

А Лена поднимает голову только тогда, когда перевертывает страницу. Оглянется и опять углубится в книгу.

— “Про что в книге?”, спрашивает снисходительно Коля, так, как будто бы ничего важнее того, что он знает, написать нельзя.

— “Про одного замечательного мальчика, Давида Копперфильда”, отвечает Лена.

— “А у него голуби были?”

— “Это тебе не Митрофан”, громогласно вмешивается Димитрий Сафонович.

Коля, видимо, не считает нужным отвечать, но услышав от Лены, что голубей у Давида Копперфильда не было, разочарованный ответом, переводит глаза на песчаную косу, к которой приближается “Черепаха” и куда подходит стадо рыжих, черных и пегих коров. Одна, черная, с белым лбом, до колен вошла в воду и неестественно вытянула шею. С губ ее тянутся радужные нити слюны, она следит своими разумными глазами за проплывающей мимо “Черепахой”, медленно поворачивая голову за ее движением.

“Наверное ее зовут Лыской”, думает Коля, “и наверное она так смотрит на Димитрия Сафоновича”.

— “Пестрые скоты Заратустры”, вдруг говорит тот.

Лена подымает голову и не улыбаясь смотрит на коров.

— “Я не знаю, кто был Заратустра”, говорит она.

Димитрий Сафонович пространно объясняет. Колю, видимо, заинтересовали только слова о сверхчеловеке, и он, нехотя, как бы с трудом, спрашивает:

— “А он Христу молился?”.

— “Кто?”

— “Да сверхчеловек”.

— “Заратустра не был сверхчеловеком, он был мудрец и молился солнцу”.

— “Разве солнцу молятся? На солнце смотрят, когда оно заходит”, уверенно говорит мальчик.

Димитрий Сафонович, чуя недоброе, таращит глаза, топорщит усы и налегая на весла, многозначительно говорит:

— “Солнце свет и тепло — начало всякой жизни”.

— “А как же, продолжает Коля, свет создан в первый день, а солнце во второй? Откуда же свет?”. Видимо, мальчик давно о всем передумал.

Лена, предвкушая удовольствие, улыбается точно облизывается.

Но Димитрий Сафонович меняет тактику.

— “Ну, ты, видно, молодец, Закон Божий учишь и знаешь, отвечай-ка вчерашний урок”.

Коля быстро и охотно рассказывает про Вавилонскую башню, увлекаясь, объясняет какой она должна была быть: конусом вверх, ярусами, из маленьких таких кирпичиков, один к одному, — так ему представляется.

Когда он кончил Димитрий Сафонович серьезно говорит:

— “Отвечай позавчерашний урок”.

Позавчерашний урок был по катехизису, который Коля не любит и не понимает. Коля начинает отвечать, но путается и сбившись сердито замолкает.

— “Позавчерашнего урока не знаешь, потому и сомнения!”, победоносно провозглашает его противник.

Лена смеется, Коля смущен. На этот раз Димитрий Сафонович торжествует. Он громко хохочет и смех его катится по реке, ударяясь в крутой берег, чем приводит в замешательство стрижей, которые прорыли в желтой стене отвесного берега, круглые дыры и теперь сыпятся из них, разлетаясь в разные стороны. Их однообразные беспокойные крики издали похожи на звуки, которые слышишь у себя дома, когда весною протирают тряпкой раскрытые окна.

Но вот красный борт “Чайки” понемногу стал приближаться. Видимо, лодки, ушедшие вперед, остановились.

“Черепеха”, охая и вздыхая, медленно подплывает к беспокойной компании.

Видно, как у берега копошатся какие-то новые люди. Это крестьяне Кургана, с утра поджидающие своих гостей.

В этом месте Псел образовал широкий залив. Справа в его свежие волны врезалась песчаная коса, далеко отходящая вглубь живой земли, переходя постепенно в дикий, поросший исполинскими осоками и густым кустарником берег. Здесь течение реки остановилось. Вода сплошь покрыта зеленой ряской, которую так любят домашние утки, золотыми кувшинками и белыми лилиями. Эти торжественные цветы кажутся фарфоровыми, их белые плотные лепестки по краям слегка розовые, ближе к воде, переходят в оливковый цвет и, наконец, в коричневый — дымчатый цвет датских статуеток. Непроницаемая тень покрывает тихий залив.

Русалки при приближении Дмитрия Сафоновича попрятались в речную глубину и Коля с упреком смотрит на него. “Черепаха” стучается о борт “Чайки”. Люся-красавица уже собрала большой букет белых лилий. Коля нагибается, чтобы сорвать одну.

— “Если для меня, Коленька, то только с длинными стеблями”, говорит Люся.

Коля до плеча опускает руку в ледяную воду. Круглый стебель скользит и уходит в сторону. Наконец, цепкие пальцы ловко поймали его.

Когда Коля потянул к себе стебель, он сладко чмокнул и неожиданно легко оторвался. Держа в руке белую лилию, мальчик, осторожно снимал другой рукой со стебля, назойливо липнущую тину и водоросли. Цветок дышал болотной ночью. Коля долго разглядывал его золотое сердце, где притаился черный жучок и аккуратно смахнув его пальцем, подал лилию Люсе.

На берегу, совсем низко, на ветвях молодой осины, прыгала серая птица, то головой, то хвостом поглядывая вниз. Ежевика над самой водой, в своем старании быть совсем черной, — казалась голубой — в этих двух цветах есть какая-то братская дружба. Незабудки, — по колена в воде, — были, неестественно велики. Высокая острая трава покрывала почти весь берег, местами собираясь в лужайки, но далеко от берега вглубь она не решалась отойти. Чуть дальше, кончались владения водяного, и начиналось царство земли.

Из лодок помогал выходить высокий рыжий парень, веселый и добрый, как Сен-Бернар. Гриня, прыгнув на берег, дал ему рубль. Видевшие заговорили по-французски: “нехорошо развращать народ”. Коленька, не находя в этом ничего дурного, одобрительно посмотрел на Гриню. А рыжий парень, которому Аксютка успела что-то шепнуть, сам заговорил по-французски. Подавая свою огромную, Минина — Пожарского, руку робко ступавшим барышням, он на разные лады приговаривал “жевусем”. Чернобородый мужик привязывал лодки и складывал весла. Впрочем, эти люди

смотрели на нас, хотя и без всякой злобы, но как на себе подобных, спустившихся к ним с другой планеты.

Свое право на жизнь они завоевали тяжелым трудом по библейскому закону — в поте лица своего — по закону земли. Поэтому круглый живот Дмитрия Сафоновича был просто чужд их пониманию.

За своих они почитали Аксютку, уже стоявшую на берегу и спорившую с чернобородым мужиком о том, что грузил на неводе мало и что мужики ее, Аксютку, обманывают, и Коленьку, который проявил прямой интерес к их личностям, сравнив рыжего парня с Гулливером, и попросив у черного позволения дотронуться до его курчавой бороды: “как барашек”, проговорил он, прикоснувшись.

Невод бросали с острия косы, обводя им довольно большой полукруг против течения воды и притягивали затем к песчанному берегу, вытряхивая содержимое. На маленьком челноке, управляя одним веслом, Гулливер сыпал в воду бисер квадратиков огромной сети. Пробки многообещающе намечали полукруг, захваченной неводом, реки.

Коля в белой рубаше с завернутыми выше колен штанами стоял поодаль, войдя в воду по песчаному отлогому берегу. Его стройная фигурка на фоне быстрой реки казалась бесконечно родной, такой радостной и нежной. Если есть это — то был когда-то рай или когда-нибудь будет.

Не принимая участия в ловле, он с напряженным вниманием следил за всеми маневрами рыбаков. Он думал, что от крика и гама вся рыба далеко уплыла отсюда. И он немного радовался этому.

Чем ближе подтягивали сеть, тем определеннее казалось, что она полна рыбы, так сильно раздувало ее течение реки, боровшейся против пяти дюжих молодцов, тянувших за конец веревки.

Еще невод не показался из воды, а Гулливер уже зычным голосом крикнул: “Пусто...” и опять сначала.

Коля подошел ближе. Теперь он что-то соображал, зрачки его стали черными, верхняя губа резко вздрагивала и синие жилки вздулись на висках.

Если бы кто-нибудь, хорошо знающий Ксю, взглянул бы на него сейчас, то ему стало бы страшно за этого мальчика. Будто непосильно трудную задачу решал он или вспоминал только что забытое, такое нужное, — самое главное слово.

Вот оно плавает вокруг, трепещет перед глазами, вот он поймал его, но оно ускользнуло и уже издали смеется над ним... И в голове звенит и ноги слабеют.

И вдруг он как бы решился на что-то. “Сюда, закиньте сюда...”, задыхаясь, выкрикивал он.

Гулливер и черный в недоумении остановились.

— “Что с тобой, Коля?”, строго спросил Гриня.

— “Сюда, Гриня, по правую сторону, пожалуйста”, сдерживая себя, но попрежнему настойчиво, просил Коля.

— “Надо послушать Колю”, сказал чернобородый мужик, и Гулливер уже повернул свой челнок направо, сыпя через руку квадратики невода в быструю воду. Сети стали тянуть к берегу. Теперь Коля с недоумением, вопросительно оглядывал окружающих и виновато улыбался. Он шел к сетям, но интерес его к улову не соответствовал предшествующему волнению, как будто бы самое главное уже было позади.

Сети попрежнему раздувались, казалось, они разорвутся на части.

Пробки невода безучастно плавали сверху, исполняя добросовестно то, что от них требовали.

Но еще далеко от берега Гулливер крикнул: “Пу-усто...”.

Сети рассыпались на мокром песку и Коля подбежал к рыбакам.

Мелкая рыбешка серебрилась сквозь складки сетей... Один шелишпер, захваченный поверху, как заводная игрушка, подпрыгивал в воздухе, приближаясь к воде. Оля, подняв его, с сожалением рассматривала длинную глупую головку, потом осторожно у самого берега бросила его в воду. Коля тяжело вздохнул и отошел прочь, туда, где начиналась живая земля.

Гулливер повернул лодку влево и опять бисером посыпались квадратики.

А на песчаной косе остались водоросли и тина, из которой Оля, старательно выбирая серебряных рыбешек, бросала их в воду.

Одни из них, как ни в чем не бывало, ныряли в глубину реки, другие, перевернувшись на бок, всплывали на поверхность и одним глазом смотрели на солнце.

Коля, не спеша, возвращался к своему месту поотдаля от рыбаков. Лицо его было серьезно, но теперь он как будто не замечал окружающих. Проходя мимо Оли, он все-таки поднял одну рыбешку и лениво бросил ее в воду. Рука его безжизненно опустилась...

Он даже не слышал, как Вася быстрым шопотом, прерываемым смехом, объяснял Демке план своей смелой шутки. Демка

должен был раздеться и, проплыв под водою, пойматься в сети в тот момент, когда их подтянут к берегу.

Сереза-математик, расчистив сухой песок, играл с Милицей в кремешки. Эта молчаливая девочка, удивительно хорошо управляла своими движениями. Высоко подбрасывая один камешек, она в четыре угла успевала положить остальные, и с такою же легкостью собрать их, поймав летящий камешек, который делал приятное “цок”, падая в ее ладонь, подставленную пригоршней. Сереза-математик только вздыхал. Он хотел позвать Коленьку, единственного соперника Милицы, но видя его мрачное настроение, промолчал.

Константин, потеряв всякую надежду на удачный улов, ушел с Антониной Николаевной за ежевикой. Из лесу несло его мелодичное “ля донна э мобиле”. Димитрий Сафонович растянулся на песке, выпросив у Лены “Давида Копперфильда”, которым и прикрыл свое лоснящееся лицо, от солнца.

Борис, — “самый сильный”, — в компании трех барышень, показывал свою ловкость, бросая плоские камешки по течению реки: “В длину или в высоту?”, спрашивал он. — В длину камешек далеко летит над самой рекой, ударяясь о воду он слегка подскакивает и потом мелкими прыжками катится дальше. Под конец резко зарываясь в воду, всегда немного наискось. В высоту — камешек, ударяясь о поверхность воды, высоко взлетает в воздух и стремглав падает вниз. “Этот еще выше!”, говорит кто-нибудь.

Закидывали сети в последний раз. Андрей, по пояс в воде, управлял невод.

Гриня с бородатым мужиком перехватили, брошенную Гулливером, веревку и начали тянуть невод, изредка ударяя, натянутой, как струна веревкой по воде. Это называется — пугать рыбу.

В полукруге закинутой сети перочинными ножичками взлетают шелишперы. Большой голавль высунул свою морду, но испугавшись пробки, повернул назад.

— “Наша-а”, завопил Гулливер.

Все встrepенулись и побежали к краю воды.

Сети как то по иному раздувались и не поддаваясь усилню, теперь уже не одного Грини, а и всех других, казалось, вот-вот. переселят тянущих и увлекут их за собой на дно реки. В них чувствовалась страшная сила. Тысячи жизней боролись за свое спасение. С разных концов реки, посланная славить Бога жизнь. слилась здесь в одно целое, могучее, казалось, непобедимое.

Огромное тело щуки перевернулось поверх своих вечных жертв и скрылось опять среди мелкой рыбы. Красноперки мель-

кали огненными плавнями, широченный язь выплеснул из воды и перевалился через край невода.

Воды становилось меньше. Люди побеждали. Гулливер подцепил за жабры большеголового черного сома и протягивая его Димитрию Сафоновичу, громко смеясь, прокричал на своем родном языке: “він ще більше тэбэ”. Чернобородый мужик по горло залез в воду и не идущим к нему фальцетом выкрикивал: “Ой, прорвэтся”. И сети действительно прорвались. Часть улова ушла. Но и после этого, когда невод распластался на желтом песку, я никогда не видал такого количества рыбы.

Солнце, светившее уже наискось, освещало живое серебро, сыпавшееся из сетей и покрывавшее мокрый песок. Серебро мелькало в воздухе, трепетало на земле, просвечивало сквозь темные сети.

Тут были и с синими спинами карпы, не умеющие умирать, тяжело дышавшие, с тупыми, упрямыми мордами.

Плотва с красными перышками, казалось, сияла на солнце.

Головли с полными ненавистью янтарными глазами, широкие лещи, лежащие среди узких зеленоватых уклек. Шуки, большие и маленькие, язь и окунь, огольцы, бычки и пескари. Все, живой грудой серебра, рассыпалось по земле.

Казалось, что Псел отдал все свои богатства сразу.

Девушки ахали, вскрикивали, мужчины смеялись. Гулливер и черный суетились с счастливыми лицами. Димитрий Сафонович, прижимая к груди своего сома, запел.

— “Улов галилейских рыбаков”, пошутил даже Гриня.

В это время позади рыболовов раздался крик.

Всеми забытый Коленька, стоявший поотдаль, всплеснул руками и навзничь упал в воду.

Сразу последовавший другой крик, похожий на “караул”, вывел всех из мгновенного оцепенения: “Ко-ленька” — это закричал Димитрий Сафонович. Никто бы не мог ожидать такой прыти от этого грузного человека: в два прыжка он очутился там, где упал мальчик. И пока Гриня и Гулливер еще бежали, он поднял мальчика из воды и нес его на берег. Что-то трогательное было в этом большом человеке, с красным лицом, с опущенными вниз седыми усами, прижимавшего своими пухлыми розовыми руками, покрытыми черной шерстью, маленькое тело белобрисого мальчика.

Голова Коли была опрокинута назад; руки безжизненно висели, безучастно покачиваясь при каждом движении; плечо упиралось в висок.

Мальчик и фигура его спасителя представляли картину в своем противоречии доходящую до совершенства.

— “С ним удар, солнечный удар”, повторял, тяжело дыша, Дмитрий Сафонович.

— “Да положите-же его, наконец”, почти крикнула Оля.

Но Дмитрий Сафонович, неловко поворачиваясь, все еще прижимал к волосатой груди не приходившего в себя ребенка. Наконец, Коленку уложили прямо на дно “Хвыли”. Дмитрий Сафонович опустился перед ним на колени, брызгая ему в лицо водой, он причитал вполголоса: “очнись, Коленька, очнись, пожалей нас!”.

Гриня почтительно отстранил его рукой и уселся с Борисом за весла. В переполненной рыбой “Черепaxe” Дмитрий Сафонович устроился на корме и, пошептавшись с Гулливером, дал ему три рубля.

— “Поспеем”, сказал парень, и действительно, лодка не отставая, пошла за “Хвылей”.

На берегу усаживались остальные. Чернобородый спрашивал Аксютку: “А хлопчик его, что-ль?” — “Не его”, сердито отвечала Аксютка. — “Ишь ты, а как он...” и чернобородый, не умея выразить мысль словом, не договорил, приложивши к сердцу свою загорелую руку.

— “Словно катафалк”, сказал Вася. И действительно, белые, выцветшие борты лодки, покрытые снизу черной смолой, и груды серебряной рыбы посредине, придавали “Черепaxe” похоронный вид.

Гладко скользкая “Хвыля” и прыжками, следовавшая за ней плоскодонная лодка, быстро удаляясь, спешили домой.

Вечером Коля лежал в своей — окнами в лес, комнате.

Только-что вышедший от него, земский врач Зильберник, объяснял его матери, делая механические жесты короткими руками:

— “Это не удар, удар не так, это другое... Много говорит? Пусть говорит. И вообще что хочет... нервный мальчик... завтра приеду. Это не от солнца”.

— “Доктор, можно к больному?”, спрашивает у двери Гриня.

— “Очень можно, он не болен, завтра приеду...”

Гриня вошел в комнату, и тихонько притворив дверь, сел у Коли в ногах.

Коля молчал, ожидая, что спросит Гриня.

— “Когда ты просил закинуть сети по левую сторону, начал Гриня, о чем ты думал?”. Мальчик заметался на кровати.

— “Ты же знаешь, Гриня, я не думал, мне представлялось...”

Тогда у Геннисаретского озера, они ничего не поймали за целую ночь, а Он сказал, и поймали так много, что сети прорвались. Я не ~~ушел~~, как Он, я загадать хотел, Гриня. Могло-же быть?"

— "Загадал и не вышло?"

— "Не вышло... а потом мне показалось, что я что-то очень дурное сделал, что это, Гриня?"

— "Говори дальше".

— "Когда вы закинули сети в последний раз, я смотрел и мне стало грустно, что больше никогда не будет того, что было **"тогда"**. А потом вся эта рыба... И все, что я раньше думал в один миг, как пламя, и какие-то блески перед глазами, и блески в сетях, все слилось, а дальше не знаю. Ты прости меня, Гриня, ведь это потому что я загадал?"

Гриня взял со стола книгу и прочел: "...и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься вниз отсюда, ибо написано: "ангелам Своим заповедую о Тебе охранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: не искушай Господа Бога твоего".

Закрыв Евангелие, Гриня внимательно посмотрел на мальчика.

— "А если-бы Христос бросился вниз, то разбился-бы?, спрашивает, наконец, Коля.

— "Непрѐменно разбился-бы".

— "Потому что, "если"..."

— "Потому-что нельзя пробовать, а надо верить".

— "А ты думаешь, Гриня, что и меня тоже чорт?"

— "Может быть".

— "А чорта нет?"

— "Нет".

— "Значит все я сам?"

— "Ты все сам, Коленька".

— "Ну, иди теперь, Гриня, я разберусь, мне не нужно".

Гриня ушел, и огромная фигура Дмитрия Сафоновича протиснулась в двери.

— "К тебе можно, Коленька? Я вот здесь на кресле... Тебе свет в глаза...". И Дмитрий Сафонович, поправив лампу, уселся у Колиного изголовья. "Тебе лучше, Коленька?"

— "Мне хорошо, совсем хорошо. А живые плотички есть, с красными перышками?"

— "Есть, много есть, я тебе отобрал всяких. И уклек, и окуней и карпов".

— "Дмитрий Сафонович, а покажите мне того сома, что вам Гулливер подарил".

— “Сейчас, Коленька”, и Дмитрий Сафонович побежал за сомом. В дверях он столкнулся с Гринею.

— “Ты еще здесь?”

— “Да, я подожду немного, потом пойду рассказывать им”.

Дмитрий Сафонович вернулся с сомом. Пятнистое тело большой рыбы обмякло, но по-собачьи умные и покорные глаза еще блестели.

Коля гладит большую липкую голову рыбы и говорит: “как кит...”

— “Как кит, проглотивший Иону”, вторит Дмитрий Сафонович.

— “А как-же”, начинает, лукаво улыбаясь, Коля, “у Брема написано, что кит питается мелкой рыбой, потому что горло у него узкое и он с трудом проглатывает две селедки сразу?”

Дмитрий Сафонович загорается. Держа одной рукой сома и делая другою широкий жест, он убедительно говорит: “да ежели в Священном Писании было бы сказано, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, то и тогда бы я поверил”.

За дверью слышны удаляющиеся шаги Грини и его сдержанное восклицание: “ах, он сукин сын!”...

Коля смеется, не зная, относятся-ли эти слова к нему, к Ионе, к киту или к Дмитрию Сафоновичу.

Разговор завязывается, затрагивая самые неожиданные вопросы.

Я знаю, он будет продолжаться до полуночи.

А мне пора спать.

(Продолжение следует).

ВЫВЕРТЕНЬ

3 июня 1940 г. — в памятный день для Парижа и роковой для Франции, Мамченко вышел в полдень из своей Медонской землянки в садик, нарядный, как там, в Запорогах, в Никополе, в свой цветник с приبلудными и подобранными ранеными зверями, зверьками и пичужками. Много у него зверья перебывало, накормники, а самый главный среди всех птиц, был заяц: усатый, и только что молчком, а все понимал и как слушает внимательно, суча волосатыми ушами, когда Мамченко сам с собой стихи читает, — и ласковый, что-то лопотал, мордочка ежиком. “Не всякое поймет, все-таки звери”. И всякий раз я повторяю за Мамченкой: “звери!” — “звери рождаются на безмятежную радость”, а вот зайца и обидели, а шел Мамченко по лесу, шишки собирал и видит, лежит под кустиком усатый вверх-брюшкой, плачет. Вспомнил ли Мамченко Зосимино слово: “не мучьте, не отнимайте у них радость, они безгрешны” или просто жалко, и подобрал его. И с тех пор живет у него заяц, в его землянке, как самый верный человек.

День был блестящий, июнь. И такая полдневная тишина, кажется, сама земля преникла и все остановилось, и один только Бес-полуденный, давясь “осанной”, один, каменный, томился над Нотр-Дам, — над всем Парижем. И слышит Мамченко, как побежала б волна, — волна за волной, — шелестящий, подгрудный стук. Сбросил он зайца на землю и к небу, посмотрел, и заяц уперся на задние лапы, перекинулся, и сел на корточки, уши на стороже, — и видит, птицы, не простые, серебряные птицы, они тянулись по воздушным блестящим путям, спеша: и одна стая отделилась на север, а другая на юг, а третья направила на восток. С восторгом, не отрываясь, смотрел Мамченко на этот серебряный полет, провожая глазами диковенных птиц.

И та стая, которая спешила на восток, летела в огненном

блеске к нам, на Ситроен, — но, не долетев до Ситроена, чугуно дыхнула — и это был не вздох, не песня, а бомбы. Первые бомбы брошены были на нас, на нашу тихую, славную поэтическим именем г-е Воилеау, «L'Art poétique».

И вдруг, переменявшись из серебряных в черные, черными птицами полетели они, подымая стеклянную метель в голубе дня.

Две бомбы ухнули в соседний №9, стеной к стене с нашим, и одну садануло в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здание, где ютились монашки — как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскопили в парикмахерскую Жанины — и мигом зеркала в-бряс, и под брезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх и, надрываясь свистом, врезались, визжа, в выступ стены у окна, где нас застигла сирена.

Отбиваясь от осколков, мы в корридор, а в корридор уж сыпались стекла из другой противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно: дверь на ключ, а ключа нет, отбросило вихрем. Ну, некуда. Некуда было деваться, и вдруг, как в мышеловке, сузилось пространство, и много пронеслось — но грохотом глушило мысль и секло все слова и было одно чувство, взрыв чувств — ужас: этот крутящийся, взывающий вихрь и это белое, кипящее пламя сквозь кровь.

С очков капала кровь, я нащупал на полу ключ и отпер дверь — а там с воем крутила стеклянная круть, и звеня, синий “катедраль” засыпал осколками лестницу, по ступеням на волю. А соседняя дверь, где жили собаки, а теперь пустая, настезь — и там бушует. “Затворить эту дверь”, толкнула меня странная мысль и обеими руками я схватился за скобку — и кровь ослепила меня.

Окровавленный, липкими пальцами вытаскиваю из головы и с лица осколки, и странно, ничего не больно, а Серафима Павловна за руку тащила меня сесть. И вдруг у нее подкосились ноги, точно кто ударил ее, и она опустилась на ящик с газетами, а я ошупью пошел в ванную под кран промыть глаза. И тут я понял, что меня ударило в левый висок и в бровь.

А когда я вернулся, она сидела на ящике и кровь капала со щеки. Буря утихла и только взрывы, — по соседству горели автомобили, — да сигналы пожарных. Все кончилось.

Блестящий был час, и все блестело от стеклышек. Серафима Павловна с трудом поднялась. И с этого часа начинается страда.

“Кукушкину” комнату нельзя было узнать: разбросано, перевернуто и везде осколки, и на столе, — все рукописи и книги на полу — блестит стекло, и один только Feuermännchen: он сидел на столе, на своем месте, не пошевелинулся, но какой уби-

тый, какая грусть в его заботливых глазах, и черный колпачок спустился на нос: в дом вошла беда.

Ее обуял страх, места не находила укрыться, пустые окна ужасали ее. Спала она — если можно сказать это слово “спала” — не в комнате, а в коридоре. А я на полу в уголку. Ночи были ужасны.

Не забыть мне этой ночи... последней, в последний день — Париж.

Париж — “это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса... великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невиданных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы”. С каждым днем Париж изменялся, не кричали его шумные улицы, а окна в желюзах, оловянные глаза домов, наводили мрачную скуку, и бешеные бабы, бесясь, выбесивали свои дикие вести из “собственного глаза” и достоверно: страх на страхе. Гоголь не поверил бы, увидев когда-то блестящий, блистающий Париж — пусто место!

Какая сила гнала эти тысячи нагруженных вещами и людьми автомобили, этих пешеходов с вытаращенными глазами, эти допотопные повозки со скарбом и детьми?

Я никогда не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх осетил душу и безголовым подхлестывал ноги? Гаражистам никогда не подсчитать слипшихся бумажек — недосчитанные, уходили в их руки из трясущихся рук: только б поскорее! Не могу поверить, что потому, что велено было — нашелся дурак, поверил! Были, конечно, послушные — всегда будут послушные, — им рассказали из детских вечеров старинные сказки о войне, все, что изображено на старых гравюрах, зверства сарацин и турок — и они бегут, чудаки, вон уж там, по дорогам, бросают бомбы и без всякого насилия — зверства теперь другого рода, — и даже не метясь... И куда девалось чутье деловых людей и счетчик, — глаз купца? Бежать! И одна только грозная воля: беги! И ноги — единственное, что что-то еще значит, ноги, — преимущество давно исчезнувших скороходов и состязающихся для забавы бегунов — стали первым, а все от головы — так. Уж подгибаются, и горят мозоли, и больно в поясице, — все равно, бегут.

Или это было нечеловеческое? Грозная неумолимая судьба повелевала волей: очистить от живого, опустошить этот застроенный на Сене кусок земли, очаровательный, великолепный, единственный из городов, неповторимый Париж, — пусто место!

Не забуду я ночи, когда из гаража умчались последние ав-

Порт д-Орлеан, и было щемящее до боли в их свисте и завывании.

И я стал различать ритм: это Villon, это Racine, это Rimbaud, это Villiers, это Hugo, это Baudelaire, я все прислушивался, это Mallarmé, и вот слова перешли в музыку — это были “Страсти св. Севастьяна” и я повторяю за Debussy, мое сердце, вдруг освобожденное, звучит, а это — и оно как врезалось трехсаженно и все покрыло — и я узнал Rabelais. И с трепетом я узнавал все новые и знакомые имена.

Высоко над Конкорд на фонаре, раскачиваясь, висел он: его голова уходила к звездам, а руки, через Триумфальную арку и Лувр обнимали заставы; под его ногами площадь лежала в пусте, Сфинкс был его стражем. И вдруг сорвался, — какая поднялась круть, темный полуночный ветер, таившийся на крови, на камнях Конкорд, взвихрившись, звенел, и сквозь круть, кровь и звон я различил ритм: Nerval’я. И в зеленом зазмеившемся кольце взблеска — Вестрис, Дюпор, Альбер, Поль и Перро: они взлетали к звездам и звездною метелицей развивались на землю. И снова все затаилось: “куда еще лететь, кого остановить?” и только стучало подошвами, и под зловещий стук, так с лопат стучит земля в могилу, я услышал, — я узнал этот голос, он пел один над пустынным покинутым Парижем: Мусоргский: Шаляпин:

— “Душа моя скорбит” —

В ночь с 13-го на 14-ое, в час, под пушку немцы вошли в Париж. “Париж в руках наших!” — так однажды, в 1814-м, говорилось по-русски, а в 1940-м — по-немецки. Но никакая рука не вынет душу... Вольтер — Стендаль — Рембо — Бодлэр — Шекспир, Данте, Гете, Толстой, Достоевский. Да, все мы ходим под Богом, а человеку мудровать над человеком — позволено все.

2

В БЕСПАСТУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Большое разочарование. Бешеные бабы даже обиделись: беременным не врезали живот и хоть кто бынибудь рассказал о изнасиловании! И отводили душу — и тут была правда: “дороги к Парижу завалены трупами”. Без дела шатались люди, еще не уверенные: прятаться или смелеть? И вовсе никакая “пятая колонна”, как тогда говорилось, а все это были из щелей, дешовое, которым некуда было бежать и незачем. Почему-то предупреждали, чтобы русским не очень-то соваться и высовываться, луч-

ше сидеть себе по домам. Большое было оживление у блядей. Последняя отставная, перекрестилась: всем найдется работа. И вспоминая Блюма, — единственное, что от прежнего осталось: свобода в понедельник! — она передернула плечами, как когда-то в свой расцвет, и засемила на Шан-з-Елизэ, где без толку мчались грузовики с солдатами, а над Триумфальной аркой, над “неизвестным солдатом”, низко кружили, гремя, как каркая, тучные аэропланы. Какое ослепительное зрелище. И стоило ли из-за этого ломиться в Париж!

С перемирием (“армистис”) солдаты разбрелись по казармам, стали и беглецы по домам возвращаться, вышли газеты, открыли магазины, укоротили день, чтобы оглядеться в чужом городе и обжиться, потом понемногу прибавят, и наступили будни.

И я пропал в очередях.

Поиски еды, стояние в очередях — сначала у немецких казарм, потом к Матэо ходил, для “беспризорных”, а кончил русским рестораном на нашей улице: давали суп на вынос.

Стояние за молоком в несметном хвосте у “диспансера” — пример образцовой распорядительности: сообразительные монашки завели такой порядок, чтобы сначала за билетиком на очередь, затем новая очередь за молоком и третья очередь платить за молоко. А когда ввели карточки, стоял в сливочной — хвостили за всем одновременно: и за маслом и за сыром и за вермишелью, — хвост начинался от Николая. Стояние в мэрии за ордером или, как тут говорят, за “бонами”: со временем утряслось, стояли легче — в школах, где выдают теперь продовольственные карточки.

Два основных стекла вставили в августе “глазные водопроводчики”, как почтительно называла их одна из наших безумных — “Блаженная”, она же и “Кошатница”, а остальные стекла только в ноябре. Для затулы от ветра я сделал тридцать витражей на картоне — площадь выбитого стекла. Снаружи часовня, а в комнатах, как пошли дожди, к вечеру ледник. Зябнуть стали загодя. И наступила зима, из зим за двадцать лет в Париже, никто такой зимы не запомнит. Наш дом без каминов, центральное отопление не действовало, жгли духовку, хоть в кухне в тепле отсидеться, но вышли ограничения и духовку запретили. И только к январю могла осуществиться установка электрической печки — радиатор.

Рваные ботинки, продранные чулки, сырость, везде течет и лопнули трубы — подтирай пол, а за водой — в соседний, а дают неохотно. Но в России “стены” — помогали, а тут чужой. В России у меня был вызов — все принять: судьба ли меня согнет

или я ее измором возьму. А тут была одна оборона, и единственное всем повторял я: “не обращайтесь внимания”.

Я никогда не чувствовал себя тем запуганным: им отвод для растерянной души — каркать, они воображают себе всякие грядущие беды и с поджатым хвостом пугают и себя и других: “плохо, говорите, еще хуже будет!” — вот их припев. Мне всегда казалось, что если чего-нибудь и не будет, ну чаю, кофю, — и разве в этом все? Я соглашался и на “армуаз” (польнь), без табаку, всегда где-то уверенный, что все будет, и всем повторял свое неизменное “не обращайтесь внимания”.

Вспоминался мне, — в Житии протопопа Аввакума читал, — юродивый Федор; обвык он босиком ходить, трудно было, а победил, и так притерпелся, что и никакой огонь не берет: “в Чудове в хлебне после хлебов в жаркую печь влез, и голым гузном сел на поду и, крошки в печи подбираючи, ест”. Чернецы ужаснулись, а ему ничего. Тоже и старец Елифаный, — это когда на Париж напали блохи, и в хороших домах от блох житья не стало, и только и разговору было, что о блохе, — старец Елифаный на муравьиною кочку садился, усядется поудобнее, норовя голым гузном в самую едучую кишь, спервоначала — очень, а притерпелся и ничего. А муравьи не блохи — жало-игла, и блошиные кусатые ноги перед муравьиными клещами — тряпка. Жаловался Пьер Паскаль: очень допекают, и от холода коченеет рука, перо скачет, а я ему о Федоре и Елифании напомнил: Паскаль в нашем “огненном” веке свой. А другим я повторял одно и кратко, как на блоху, так и на холод: “не обращайтесь внимания”.

И еще о эту пору с какою-то жгучестью я вспоминал карлика, давняя память, карлу Ивашку. В моровое поветрие в 1654 в Москве царь Алексей Михайлович с царицей покинули Кремль и с Москвы съехали, пока не уляжется, а во дворце в Потешной Палате остался истопник и карлик — карлику поручили от царицы из хором “четырех попугаев, а пятого старого”; на истопника выписали корм с Хлебного и Кормового двorca, то же и птицам, а карлика забыли. И всю зиму — 20 недель — жил карла Ивашка без корму, и за птицами наблюдал. Миндаль и калачи купит птицам сторож Дементий, и всякий день карлик накормит птиц и клетки почистит, и, если остался жив, спасибо истопнику: Александр Борков кое-что даст от себя, а то без корму очень затруднительно: птицы, хоть и не скажут, а таскать у птичек тоже нехорошо. Близо к Кремлю никто не подходил: с каждым днем наметало сугробы и белая стена белее стен Китая подымалась вокруг двorca. Карлик зябкий, кутался в выброшенные “подержанные” царские набрюшники и подгузники, и это червчатое на его лазурном кафтане, красило его птицей. Карлик накормит птиц и присядет к окну, — только белый снег

— посидит-посидит и опять к птицам: разговаривал с птицами, сказки им сказывал. А в окно только белый снег. Карлик поднялся, стиснул свои кулачки: “забыли!” — и тоненько завыл собаченкой. А истопник Борков думал, что птицы запели... “всякие бывают птицы, а царь и царица птиц не гонят, да скоро и весна!” — и, пригревшись у печки, вспомнил, как царь намедни очки надел — такие стекла на глаза и сквозь стекла книгу читал и тихо смеялся, — “медвежья комедия или про охоту!” И, сладко зевнув, Барков перекрестил рот: “поужинаю, да и на боковую”. Бедный карлик, мне никак невозможно, мои рваные ботинки потонут в сугробе, а я бы непременно поднялся к тебе, я очень люблю слушать сказки... я, карлик, как ты, сижу один у окна, только не белый снег, а беспросветная ночь.

Пещерная жизнь — черные дни.

Я не запираю наружных дверей: дверь всегда приоткрыта. Но тут я хорошо помню: захлопнул. И слышу кто-то вошел. Я поднялся, хотел заглянуть в кухню, а дверь не открывается, так забухла с вечера, такая сырость. И много я старался: какая-то сила держала ее. А когда все-таки справился и вошел в кухню, за мной следом вошел карлик: но это был не карла Ивашка-лазорева в красных сапожках, это был тощий, в чем душа, и на его толкачике голове острая черная аракина, как колпачек на моем Feuerhännchen'e и весь в черном, блестящий, как высеребряный. И лицо — он так смотрел на меня зорко — блесело: глаза и острый нос и дергающиеся уши. Он мне поднес кувшинчик, полный зеленоватым. “Неужто молоко?”, спросил я карлика. “Лунное, сказал он, а это жар-птица”, — и он протянул ко мне книгу в золотой парче. “А это что на тебе?” — “Черный шарф, — сказал я, — называется “Марья Александровна”, очень теплый”. Карлик засмеялся, что так зовется по-человечески, и что теплый, и своими детскими рученками снял с меня этот теплый человеческий шарф, и я почувствовал, как меня встрясуло: холод побежал по мне. А он взмахнул шарфом и я, как ухнул в пучину, и поднялся через кипящую чернь вверх — думал, что уж Бог знает куда попал. А там все обыкновенно: холодно, улица и у лавок бесконечные хвосты. “Гретхен” — Софья Семеновна, наша соседка, когда-то в допотопные времена пела Маргариту в Большом Театре, она, что-то уж получила, в обеих руках тащит. “Как вас Бог носит? говорит она, а сама на эту свою ношу, должно быть творог (такая редкость!) косится. А я ей отвечаю: “Бог не выдаст, свинья не съест”. А сам думаю: съеден на девять десятых, я не забытый Богом, все-таки, на ногах, но почти забытый: как я мечтал, вот напишу что-то, а и на мечту не остается, и не только писать, а и на чтение не остается часа. “Душу мою освободите!” И как бы в ответ мне она раскрыла свой горшочек

и я увидел и совсем это не творог, а мой черный теплый шарф "Марья Александровна".

Да, когда-то я во сне видел рыб и их явление было живое — серебряные в прозрачной воде, а вот как-то приснились сардинки в масле и без косточек; значение не предусмотрено ни в каком соннике и ничего неизвестно Мартыну Задеке.

Или — а это тоже новейшего изобретения: две золотые раки: мощи не то митрополита, не то какого-то князя — мощи "под спудом". А как вскрыли, оказалось — через золотые кованые стенки вижу светящийся рубиновый цвет: ветчина. И все стали в хвост, двигаются за кусочком: великолепная ветчина! И я устремился за своей долей без тикеток. Думаю, как удивлю Сергееву Павловну, ведь, забыли и вкус ветчинный. Но я шел последний, — я со слепу стоял не там, где нужно, — все расхватают, и мне не достанется. "Душу мою освободите!" И с горьким чувством проснулся.

Мои ботинки текут, сапожник не принял: никуда. И вот мне срезали подошвы, я взял в руку и замечаю, с краев они розоватые, а взгляделся: да это сливочное масло.

И даже в литературу вплетется наша жизнь, где ничего не осталось, только корм.

Я его встретил под живой зеленой аркой, такие помню в Фридене, но еще выше, гуще и живее. И кто-то тонкий, высокий — его спутник — промелькнул в зелени арки, он, видимо, идет впереди, отыскивает... (как потом выяснится: корм).

Я шел с ним по берегу Яузы от Андроньева к Земляному валу. На нем был зеленый мундир с желтым воротником и фуражка с желтым околышем. Мы идем плечо-к-плечу, я заглядываю ему в глаза, хочу напомнить о себе, но в его глазах "кремнистый путь блестит". Так прошли мы бани, Полуярославский мост. И я тужил, что нет у меня слов, — и все стихи его я вдруг забыл. Тут появился его спутник, на нем была та же форма, но солдатская, и был он куда выше и очень стройный, что-то знакомое показалось в нем — я видел его совсем близко. Но он обогнал нас и, крикнув, "Жорж", пропал. И на его окрик из бурьяна поднялся и все выше, высоко над репьями повар Рыбенцов. (Рыбенцов студентом в Москве написал исследование о Лермонтове, а в Париже повар "Жорж" в русском ресторане на нашей улице). Скрестив руки, приветливо глядел он на нас, и на его благообразном лице сияли стихи: "Михаил Юрьевич!", сказал он и окликнул: "Александр Александрович!" И я догадался, что спутник Лермонтова Бестужев-Марлинский. И вдруг в глазах "кремнистый путь" Лермонтова потеплел. И я понял, что и Лермонтов и Бестужев шли к "Жоржу" обедать и что Жорж подложит им в суп "косточку", как мне подкладывает всякий раз. И теперь, не чужой, я

шел с ними. И они о чем-то оживленно говорили... но только различаю ясно: “косточка — кость — кастрюля...”.

И все мне кажется живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

Первое время я все радовался: часы остановились, услышу, где-то бьют, и обрадуюсь; или кто-нибудь принесет папиросу или даст несколько кусков сахара или получу у Тоненькой-шейки хлеб по тикеткам или добыюсь получить у рыбаков рыбу без номера — и на все обрадуюсь. Что это за акафист такой: “радуйся! радуйся!” или это так разменялась радость и скоро за право дышать станет радостно.

Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра, К монистической гносеологии, и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к “философствованию”: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан — живой: водный и воздушный, верно и о рыбке той помнил, самой первой, о которой я услышал на первой лекции по анатомии: по ее строению все мы, люди, звери, рыбы и птицы. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой — о жизни древних вообще никто ничего не знает, все пропало, а говорю по Сенковскому; барон Брамбеус и не то еще знает: как мечтал и просился Пифагор воплотиться в собаку — высшее и верное воплощение, а определено ему было жевать траву и он воплотился в корову. А по моему званию? — мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина. Когда-то Шестов напечатал статью о Плотине, находчивый редактор в последней корректуре заметил и исправил шестовское “и” на “о”, и вовсе не для безобразия Плотина превратил в Платона. А “для безобразия” был грех, но только со мной: И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова, Рожков известный петербургский “экономист”, Серафима Павловна служила корректором в “Вопросах Жизни”, принесли корректуру и я заметил, что вместо Рожков набрано “Р о з и к о в”, и, не показывая Серафиме Павловне, исправив на свой страх опечатки, но не трогая “Розикова”, отослал в типографию, да так и вышла книга с “Розиковым”. Хохоту было, но и обида: этой рецензии Рожков

ждал, а Давыдов старался, и ведь все в похвальных выражениях: “Розиков — Розиков — Розиков”. Я тогда совсем забыл, что гедь все падет на корректора, ну мне за это и отплатилось и через много лет, тут уж в Париже: самый лучший отзыв о “Крестовых Сестрах” появился в женевской газете, но вместо Ремизова напечатали жирным шрифтом: “Ремозоль” и в заглавии и в тексте и вовсе не “для безобразия” “Ремозоль”. И вспомнив, я подумал, от беды не увернешься, и неизвестно еще, отчего все так бывает и **за что**. Так и я расфилософствовался. А было над чем: разорение и беспелюха; а в нашей жизни: пропад.

Я верую в пепел. И когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало, серый пепел. А исповедую огонь. Только в “огневице” и мысль родится и воображение. И весь мир “в жару” цветет. А из пепла первой же воскресной весной восстанет жизнь, верю и пропада не боюсь, подойдет оно и подымет. Кто оно? Пламя — желанное сердце. А люблю я осеннюю дорогу, палые листья, вой ветра, круть ветра, — это дыхание жизни, смерчком задушит, а других оживляет. В вое ветра я научился различать: темный, на-голос гулко опеваает меня — мое самое главное пропало! А над темным другой поет-убаюкивает. Люблю шум, тесноту, безобразия; люблю и тишину, когда мысли идут, как попало, и музыку: в ней и прошлое, в ней и о будущем. А настоящее? — с 8 утра до 9-ти вечера, а бывает и до 10-ти, в очередях и на кухне. И чему же я все радуюсь, чему, чему?

Так было первое время, пока не обвык.

Четыре часа собираю воду, ползая на корточках после всех дневных моих стояний, и в коридоре ледник: в уборной засорились трубы и, когда наверху спускают, в раковине подымается и на пол: осьмизэтажная застарелая моча. Мне ничего не давалось так: еще в детстве “из какой руки?” спросят, и я всегда назову ту, в которой пустышка, и только трудом я что-то достигал. С промокшими ногами я продолжаю работу и голова болит: накануне вечером с час трудился. И уж не радость, что подотру, и больше не будет течь, и не отчаяние — зальет, а любопытство, что дальше, когда меня зальет. А по утрам снова: кухня и корридор — вода, и какая! боялся подтечет в комнату, и кого я только ни просил, и консьержа, и консьержку, и жераншу — посмотрят, постоят — и за дверь, и только один умный Утенок — ему вода своя стихия, — напялил свои лягушачьи зеленые перчатки и, сверкнув бриллиантовыми глазами, пошел за мной с тряпкой. До полдня трудились. Да все равно без водопроводчика не справишься. А как бы, еще недавно, я обрадовался, когда пришел, наконец, водопроводчик, веселый и быстрый и за пять папирос глотком высушил залитый пол и тряпку выжал.

Какие тупые беспросветные будни, день-деньской на ногах,

и не костлявыми пальцами, а, как мои пальцы, — если случайно притронусь, человек вздрогнет, — моими пальцами впившись в мои плечи, давит Забота; и так таскать не по силам, а она тяжелее тяжестей, сумку я на стул положу, а она не отпустит. Но как бы суровы ни были будни, в них неизбежно и смех и горе, — горе и чары. Смотрите, уж раскрываются “врата огня” — под землей, в воде и в воздухе.

1943 г.

Н. ТЭФФИ

МАЛЕНЬКИЕ
РАССКАЗЫ

Встречаются в жизни маленькие, быстрые впечатления — картинки, сценки, типы, разговоры.

По писательской привычке думается: вот это стоит запомнить. Когданибудь пригодится, как деталь, как мелочь в большой вещи, когда по закону ассоциации, всплывает в памяти впечатление. Но не всегда такие впечатления пригодятся. И вот подумалось мне, что, может быть, они имеют некое право на самостоятельное существование. Может быть, можно отдать их другим душам так же просто, как приняла их моя душа.

I

ОТЧАЯНИЕ

Я сегодня вплела в свою косу
Первый раз серебристую прядь.
Анна Ахматова.

Утро. На лакированном столике, в хрустальном бокале стоит вчерашняя роза.

Она вчерашняя, но еще свежая, только низко опустила голову. Два зеленых листика вытянулись на стебле у самого цветка, словно широко раскинутые руки.

Что то странное в этой розе. Эта опущенная голова, эти раскинутые руки, точно она нагнулась и внимательно рассматривает что то на столе. Что то там удивило и испугало ее.

Да. На столе у самого бокала лежал розовый лепесток. Первый лепесток, опавший от ее пышного, роскошного и радостного существа. Начало смерти.

Сколько невыразимой грусти в этой странной картинке. Откуда она? Кто ее придумал? Кто так художественно скомпоновал?

Случай.

Случай, зачем ты показал мне это прекрасное, это нечеловеческое отчаяние?

Ну, что я могу!

II

КРАСОТА

Это было давно. В Петербурге. Я ехала в трамвае. Рядом со мной сидел какой то мальчик, лет семи. Это был простой мальчик, плохонько одетый. Был на нем застиранный, вылинялый, ситцевый костюмчик, в полоску синюю и белую. На коленках были наштукованы большие заплатки из того же матерьяла, только нового. Очевидно, лоскутки были припрятаны вот именно на такой случай. Продерутся рукава, либо штанишки, вот и будет чем залатать. Было, конечно, прелезобразно, ну, да ведь на мальчишку не напасть.

Мальчик долго рассматривал эти яркие заплатки, гладил их рукой, наклонял голову на бок, наконец, вытянул ноги, чтоб виднее было и застыл в созерцании. И вдруг неожиданно обернулся ко мне и сдавленным от восторга голосом сказал:

— Как красиво!

Сказал и тотчас испугался. Заговорил с чужой барыней. Что же это? Ведь заговори с ним на улице такая, он бы от страха стрекача дал. А тут сам.

Но я поняла, что он не владел собой, что красота этих заплат так охватила его душу, так переполнила ее восторгом, что он не мог не поделиться этим восторгом все равно с кем. Этот возглас, это "Как красиво" перелилось через край. Не может человеческая душа выдержать такого могучего подъема и не воскликнуть и не поискать скорее-скорее отклика, поддержки. Это как стон от боли, который сам в себе бессознательно ищет помощи.

И я помогла.

— Да, это ужасно красиво, — серьезно и спокойно сказала я.

III

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Войска входили в город. В Париж.

Ничего торжественного не было. Ёхали вереницей камионы и на них солдаты. Но так как эти солдаты были враги, немцы, то и грохот камионов казался особенно громко гремучим громом.

По тротуару шли две старушонки в черных платьях, похожие друг на друга. Только одна была повыше и шагала пошире. а ноги у обеих были одинаковые, старушечьи, вроде кочерги, без

икры, без подъема, без каблуков, и пальцы заворачивались вверх. И, конечно, в черных чулках.

Шли они по своим мирным делам, поворачивали головы с опаской — боялись автомобиля. Хоть и пусто на улице, а вдруг выскочит. Высокая старуха была как будто значительно меньше. Она говорила, а маленькая только поддакивала головой.

И вот захохотали камионы. Прохожие остановились, смотрят. Девчонки подталкивают друг друга локтями, хихикают:

— *Des beaux gars, les vaches!*

Старушонки остановились, растерянно потоптались на месте и вдруг скоро-скоро побежали к большой пустой стене. Повернулись к ней лицом и распустили зонтики. Большие, черные, дешевые, ластиковые зонтики закрыли их. Видны только ножки-кочережки. И так и застыли. Только тот зонтик, что пониже, чуть-чуть дрожал. А тот, что выше, не шелохнулся. А войска проезжали мимо и входили в город.

У маленькой старушонки наверное кололо сердце. Ведь это была демонстрация. Как хотите, а это была непредусмотренная властями демонстрация. Ведь маленькая старушка чувствовала, что она совершает героический поступок. Ведь злые немцы — кто знает, как отнесутся к их развернутым зонтикам? — “Ага, скажут, они не хотят нас видеть, так выколем же им глаза”. Зонтик дрожит, но она не закрывает его. Та, большая, стоит недвижно, она рождена героиней, рождена вот для этого момента, когда она идет одна против целой Германии и ведет за собой сестру. И сестра с ней. Пусть дрожит ее зонтик — она достоин до конца.

Чудесная демонстрация!

Я счастлива, что видела ее.

IV

МИСТЕРИЯ

На полустанке поезд останавливался всего на две минуты. И уже, наверное, одна минута успела пройти, когда я увидела нашего сумасшедшего художника. Он, какой то растерянный, топтался на платформе. Одновременно увидел и он меня и кинулся к моему окну.

— Скорее, скорее, выходите! — умоляюще крикнул он.

— Не могу, я еду к знакомым, на дачу.

— Ах, какой все это вздор! Непременно выходите. Скорее, скорее! Боже мой. Это страшно важно.

Я ничего не понимала, но его волнение удивило меня. Все равно — подумала — поеду со следующим поездом.

— Это такое чудо, — задыхался он, — вот увидите. Вот в этом лесочке.

— Да в чем же дело?

— Не спрашивайте. Это нельзя рассказать. Все равно не поймете. А если увидите, может быть, и поймете. Господи! Должны же люди понимать! Это здесь, в лесу. Идем.

Он был бледный. Впрочем, он и всегда был бледный. Некрасивый, вроде белой обезьяны. Нос сплюснутый, сам большой, костистый. Картины рисовал странные. Называл их музыкой будущего. Помню, была у него “Черная Мадонна” — одноглазая, без рта и вся лилового цвета.

— Почему же она называется черной, когда она лиловая?

— Потому что чернокожие должны представлять себе Мадонну лиловой.

Он как то рисовал мой портрет. Взял свой альбом, стал водить по листу пальцем, мысленно набрасывая мой профиль. Оторвал лист, бросил, стал мысленно набрасывать на другом. Оторвал, бросил. Потом третий, четвертый.

— Отчего вы не набрасываете на том же самом листе?

Он удивился моей бестолковости.

— Как же я могу? Я же вижу то, что я набросал. Получился бы один рисунок на другом.

Мне надоело сидеть. Я ушла. Вернулась. Он смотрел на пустое место в кресле, где я прежде сидела и продолжал свои наброски.

— А ведь я уходила, — сказала я.

— Это ничего. Я же продолжаю вас видеть.

Из портрета вышла музыка будущего.

И вот этот самый художник, взволнованный, с дрожащими губами, тащит меня в лес смотреть на какое то чудо.

Мы пошли по тропинке, вышли на маленькую круглую полянку и остановились.

— Смотрите, — шепнул он. — Видите? Господи! Да неужели и вы не умеете видеть?

Я повернулась, посмотрела, ничего не увидела.

— Смотрите, — шептал он. — Сосны встали кругом. Старые сосны, седые, мудрые. А в середине, в самом центре маленькая, стройная, зеленая елочка. А сосны ровным кругом стоят, стерегут. Что же это за елочка? Почему ей такой почет и поклонение? Кто поставил ее в средину круга? Одну. Кому то известна судьба ея. Ведь то пречистое древо, легендарные частички которого берегутся в храмах и ладанках, тоже было чьей то волей посеяно, посажено, неведомо охраняемо. Что мы знаем?

Какому искуплению, какой правде распятой послужит и это странное, чудесное дерево. Разве вы не....

Он вдруг остановился. Я обернулась к нему, у него глаза были совсем безумные.

— Смотри же, смотри! — закричал он. — Молчи, о, молчи, глупая! Смотри! Го-о-осподи!

Я взглянула на елочку.

Прямые лучи полуденного солнца жарко звенели над ней. И что то отделилось от ее вершины, что то заблестело малой, бледной блесточкой, засверкало, засияло и стало подыматься в свете все выше, выше.

— Пчела? Шмель?

— Это ее молитва. Ее слава к небу подымается, — шептал художник. — Мистерия! Мистерия!

Он опустился на колени и сложил руки. И все стало, как в храме.

Мудрые, старые сосны, стоящие ритуальным кругом и как раз в центре, эта ровная, зеленая елочка, острым конусом вся устремленная вверх и над ней прямой линией подымающаяся к небу в золотом воздухе полдня неведомая, живая, светящаяся точка.

— Тихое дерево! — шептал сумасшедший. — Тихое дерево! Покрой мя твоею благодатию.

ВЛАД. СМОЛЕНСКИЙ

ЛЮБОВЬ ТРИСТАНА И ИЗОЛЬДЫ

Мой перевод «Тристана и Изольды» сделан с прозаического перевода, со старо-французского языка, Жозефа Бедье, собравшего и соединившего в одной книге отрывки дошедших до нас поэм трубадуров XII-XIV века Беруля, Тома, Ейлгарта Д-Оберга, Готфрида Страсбургского и некоторых анонимных авторов.

Печатаемая здесь первая глава — «Детские годы Тристана», заимствована из разных поэм, главным образом из поэмы Тома.

В. С.

I

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ТРИСТАНА.

Государям угодно-ль прослушать рассказ о любви и о смерти?
Это рассказ о Тристане и королеве Изольде.
Слушайте, как в бесконечной печали и в счастье безмерном,
Друг друга любили они и умерли вместе друг с другом,
Он от нее и она от него принимая кончину.

В стародавние годы царствовал Марк в Корнуальской
Мирной стране. Но враги на его королевство напали.
Риволан, король Лоонийский, об этом услышав,
На помощь ему поспешил из-за моря. Мечом и советом,
Как верный вассал, он ему помогал, и за это в награду
В жены отдал ему Марк сестру, которую звали
Белый Цветок. И любовью чудесной, и верной любовью
Король Риволан полюбил молодую супругу.

Но когда повенчались они в Тентажельском старинном соборе,
Было их счастье недолго. Злые вести пришли к Риволану:
Старый недруг его, князь Морган, в Лоонийские вторгся пределы,

Разрушает его города, жжет селенья и нивы и пашни.
Риволан, на своих кораблях паруса поднимает поспешно,
И с супругой своей, у которой уж бился ребенок под сердцем,
Во владенья свои отплывает. В свой замок прибыв Каноельский,
Поручает супругу Роальту, что маршалом был и бароном,
(Называли в народе Роальта прекраснейшим именем — “Вер-
ный”)
И на помощь баронов созвав, он идет на защиту отчизны.

Долго Белый Цветок возвращения ждала короля и супруга.
Но, увы! — никогда Риволан не вернулся к своей королеве.
Был убит он не в славном бою, а предательски, князем Морганом.
Королева не плакала; криков и жалоб никто не услышал.
Только тело ее стало слабым и как-бы пустым; и душа захотела
Это тело ненужное бросить. Роальт утешал королеву:

“Королева”, сказал он, “печалью печаль утолить невозможно;
Всяк родившийся в мир обречен неминуемой смерти!
Принимает Господь мертвецов, и Господь защищает живущих!”.

Но его не послушала Белый Цветок, но три дня и три ночи
Еще прожила перед тем, как уйти за своим господином.
В день четвертый она разрешилась от бремени сыном
И обняв его нежно: “Мой сын”, так ему говорила:
“Я так долго тебя ожидала, так сильно хотела увидеть —
Ты прекраснее всех сыновей, что когда-нибудь жены носили под
сердцем.

Я в печали тебя родила и твой праздник рожденья печален.
Вот, увидев тебя, я в смертельной печали тебя покидаю,
Ты с печалью на землю пришел — я даю тебе имя Тристана,
Что по-нашему значит “печальный”! Так сказав, она тихо вздох-
нула,

Сына поцеловала, и тут-же закрыла глаза, и скончалась.

Верный Роальт приютил сироту, а уж люди Моргана
Замок его окружали. Не в силах был долго сражаться
Храбрый Роальт. — Ведь известно, что храбрость не есть через-
мерность. —

Он сдался на милость Моргана. Но, зная, что сын Риволана

Может быть князем убит, он Тристана назвал своим сыном,
И достойно его воспитал наравне со своими сынами.

Быстро семь лет протекли и время уже наступило
Взять ребенка у мамок и дать под начало мужчине.
Отдан в науку был он Горвеналу, старому воину —
Мудрым наставником был Горвенал для Тристана.
В несколько лет научил он Тристана высоким искусствам
И трудным наукам — которым баронам учиться достойно.
Научил он Тристана тяжелым копьем и мечом превосходно
Владеть, и из лука стрелять, и диски метать, и с разбега
Перескакивать рвы, и другим благородным наукам;
Он его научил вероломство и ложь ненавидеть, и бедным
Всегда помогать; и быть верным и в клятве и в дружбе;
Он его научил разным песням, искусству слагать эти песни,
И на арфе играть, и искусству охоты на зверя.

И когда появлялся Тристан на коне среди наездников юных,
То казалось, что конь и оружие с наездником слиты так крепко
Что ничто уж не в силах их разъединить. И люди увидев
Тристана таким благородным и гордым, и широкоплечим,
И узкобедрым, и сильным, и верным, и храбрым, хвалили Ро-
альта

Что такого он сына имеет. Но Роальт вспоминал Риволана
И Белый Цветок — их обоих, таких молодых и прекрасных —
Любил он Тристана не только как сына, но как Государя.

Но однажды заморские гости заманили обманом Тристана
На корабль и отплыли поспешно, похваляясь красивой добычей,
И все время пока они плыли к своим берегам отдаленным
Тристан, как волчонок попавшийся в сети охотников, бился.
Но известно давно, корабельщики это наверное знают,
Что море несет неохотно корабль вероломных злодеев,
Не благоволит к похищениям и не помогает изменам.
В гневе оно взволновалось, корабль окружило туманом,
Восемь дней и ночей его гнало и било по яростным волнам,
Наконец, на девятое утро, корабельщики, в мутном рассвете,
Увидали утесы и рифы, на которые море стремил
Их корабль. Раскаялись тут корабельщики в том что свершили,
Понимая за что им грозит неизбежная гибель в пучине.
Барку спустили они, чтоб отправить Тристана на берег.

Тотчас-же море утихло и небо опять засияло.
Освобожденный Тристан тихо на берег выходит.

Он с великим трудом на прибрежные скалы поднялся и видит
Пустынное поле и лес вдалеке, без конца и без края,
И заплакал Тристан вспоминая далекую, милую землю,
Роальта отца, Горвенала учителя, родину, детство...
Но вдруг, вдалеке, он услышал знакомые крики охоты,
Сердце взыграло его: видит он, на лесную опушку
Вылетел гордый олень и следом за ним стая гончих,
И трубя в золотые рога, охотники с шумом за ними.
Но вот уж собаки, как гроздь, повисли на шее оленя,
Ноги его подкосились; задыхаясь, он рухнул на землю
Недалеко от Тристана; и ловчий, оленя прикончив,
Над зверем убитым трубит окончанье охоты,
И вдруг с удивлением видит Тристан, что начальник охоты
В шею убитого зверя нож свой глубоко вонзает,
Чтобы горло ему перерезать. Тристан закричал ему громко:
“Господин, разве можно сего благородного зверя
Разрезать, как свинью, что хозяином добрым заколота в празд-
ник,

Неужели такие обычаи в вашей стране существуют?”
“Юный друг мой”, — ответил охотник, — “не пойму, что тебя
удивляет?”

Я голову должен оленю отрезать, потом на четыре
Части его разрубить, приторочить их к лукам седельным,
И в замок свезти к королю Корнуальскому Марку.
Так с незапамятных лет в Корнуале всегда поступали.
Если ты знаешь другой, боле похвальный обычай,
Вот тебе нож, мы учиться готовы охотно!”
Став на колени, Тристан, перед тем как разрезать оленя,
Шкуру сдирает с него, а потом разрезает, как нужно,
Кость оставляя нетронутой, и вынимает желудок,
Вырезает язык, и сердечные вены, и лучшие части.
Ловчие все и псаря на Тристана глядят с восхищеньем.
“Друг”, — начальник ему говорит, — “твой обычай прекрасен,
Где ты мог научиться ему, и как твое имя и званье?”
“Мое имя Тристан и это обычай страны Лоонийской!”
Начальник тогда говорит: “Будь-же благословен твой родитель
Благородно тебя воспитавший! Он знатный барон, несомненно?”
Но Тристан, что умел говорить, но умел и молчать, отвечает:

“Нет, отец мой купец, я покинул мой дом самовольно,
На чужом корабле, чтобы страны и царства чужие увидеть.
Но если вам будет угодно принять меня в вашу охоту,
Я охотно за вами последую и покажу вам немало
Добрых обычаев, вам неизвестных, звериной утехи”.
“Прекрасный Тристан”, — отвечает охотник, — “меня удивляет,
Что купеческий сын знает больше чем наши дворянские дети...
Но если ты хочешь, то следуй за нами. Тебя к Государю,
Доброму нашему Марку, мы отведем незамедля”.

Тристан, разрезав оленя, бросает собакам
Сердце и морду и кишки, охотников тут поучая
Что собакам дают из дичины и как надлежит это делать.
Потом, наколов на рогатины части оленя
Меж охотников их разделяет: тяжелую голову зверя
Дает одному, а другому бедро, а третьему спину...
Так, разделив, он ведет их попарно, в порядке
Благородства частей, на рогатинах ими несомых.
В мирной беседе свой путь коротая, они увидали
Замок богатый, Сады, и луга заливные, и пашни,
Рыболовные тони, и быстрые реки его окружали,
Корабли, без числа, в порт входили с товаром различным, и за-
мок
Возвышался над морем, прекрасный и грозный, и главная башня,
Что когда-то, из гладко обтесанных глыб и лазури и яшмы,
Возвели великаны, тведыней стояла вовек нерушимой.

“Как зовут этот замок?” — “Тентажель”, — отвечает начальник
охоты.

“Тентажель!” — восклицает Тристан, — “будь же благословен-
но вовеки

Славное имя твое и имя твоих благородных хозяев!”
В этом замке, мои государи, Тристана отец обвенчался
С Белым Цветком, — но ведь это неведомо было Тристану.

Приблизившись к башне, они затрубили в рога и фанфары,
И навстречу им вышли бароны и сам Государь Корнуальский.
Начальник охоты ему рассказал о своих приключениях,
И Марк весьма удивлялся порядку, в котором охота
Вернулась к нему, и оленю, что был так прекрасно разрезан —
Всем мудрым обычаям ловли. Но больше всего удивлялся

Прекрасному мальчику, глаз восхищенных с него не спуская. Откуда пришла эта нежность? — не знал он, но мы, государи, Знаем, что был он взволнован таинственным голосом криви, И, бережно в сердце хранимой, любовью к сестре опочившей.

А вечером были накрыты столы королевского пира,
И гальский фигляр, изощренный в высоком искусстве,
Средь баронов собравшихся вышел и струн сладкозвучных кос-
нулся.

Сидя у ног королевских Тристан его слушал с вниманьем.
Кончив первую песню, арфист, струны перебирал чтоб другую
Песню начать, но Тристан так к нему обратился:

“Учитель, стихи, что ты хочешь пропеть нам, отменно прекрас-
ны,

Их звуки печальны и сладки, слова так нежны! — их когда-то
Бретонцы сложили и пели прославляя любовь Граелана.

Ты умело поешь, спой их нам по возможности лучше!”

Галл запел и, окончив, ответил Тристану: — “Что знаешь, ты,
мальчик,

О высоком искусстве игры и о пенья чудесном искусстве?

Если им обучали купцы своих сыновей в Лоонийской

Стране, то возьми эту арфу, свое покажи нам уменье!”

Тристан взял аккорд и запел так прекрасно, и так вдохновенно,

Что тронул глубоко сердца закаленные гордых баронов,

И Марк восторгался арфистом прибывшим из стран Лоонийских

Куда Риволан, без возврата, увез свой Цветок белоснежный...

Когда кончилась песня Тристана, долго Марк оставался безмол-
вным.

И сказал, наконец: “Да будет учитель твой благословенен

И да будешь ты благословен, до конца твоих дней, Всемогущим.

Любит Бог справедливый певцов и поэтов — их голос высокий

Проникает в людские сердца, дорогие в них воспоминанья

Пробуждает, и их заставляет забывать преступления и скорби.

Ты радость принес в этот замок. Остайся-ж надолго со мною!”

Отвечает Тристан королю: “Государь, я охотно останусь

И буду служить вам арфистом, и ловчим и данником ленным”.

Так он и сделал — и крепла три года взаимная нежность

В их сердцах. Днем Тристан ездил с Марком на ловлю,

Или суд и расправу творить, а ночью он спал в королевской

Опочивальне, среди верных и среди приближенных, и если

Король был печален, он пел чтобы скорбь в его сердце утишить.

Бароны любили его, а особенно, как будет видно
Из рассказа, Динас де Лидан, что был главным судьей в коро-
левстве.

Но больше их всех, и нежней, Марк любил молодого Тристана.
Но Тристан несмотря на любовь, что повсюду его окружала
Утешиться все-же не мог, он грустил о стране Лоонийской,
О Роальте отце, об учителе мудром своем Горвенале.

Государи, искусный рассказчик, коль хочет понравиться, должен
Избегать, сколь возможно, длиннот. Моего содержание рассказа
Так прекрасно, правдиво и разнообразно, что право не стоит
Его удлинять. Вкратце вам расскажу, как Роальт очень долго
Блуждал по морям и по странам чужим и повсюду Тристана
Искал и нашел, наконец, в Корнуале; склонившись пред Марком,
Показав ему чудный карбункул, что Белый Цветок получила
В подарок на свадьбу от Марка, сказал: “Государь, вот пред
Вами

Тристан Лоонийский, он сын короля Риволана и Вашей
Сестры августейшей. Морган захватил его земли неправдой,
Но время настало уже, чтоб вернулся законный наследник
На престол Лоонийский!” Я вам расскажу очень кратко,
Как Тристан, королем, окруженным блестящею свитой,
В рыцари был посвящен, как отплыл к берегам Лоонийским,
Как вассалы признали его Государем; как на поединок
Он вызвал убийцу отца, и его победил в поединке,
И вернул под высокую руку свою Лоонийские земли.

Тогда он подумал, что Марк, его дядя любимый, не сможет
Без него быть счастливым. И вот, благородное сердце Тристана
Ему подсказало решение мудрое. В замок отцовский
Он созвал всех баронов и графов и так им сказал: “Государи,
С помощью Божьей и с помощью вашей, законное право
Наследства я утвердил, отомстил за отца Риволана.
Но лишь два человека на свете, Роальт и король Корнуальский
Сироту полюбили всем сердцем, приютили ребенка бродягу.
За это я должен назвать их своими отцами. Их право
Отцовское должен я им возвратить. Человек благородный
Имеет две вещи, которые вправе назвать он своими,
Это тело его и земля. Мою землю даю я Роальту,
Пусть владеет он ею по праву наследства, а тело
Отдаю я другому отцу — королю Корнуальскому Марку.

Этот раз я уже добровольно, дорогую покину отчизну
Чтоб служить моему Государю. Я свое изложил вам желанье.
Но вы феодалы мои и должны помогать мне советом.
Если есть среди вас кто-нибудь, кто другое решенье предложит,
Пусть он скажет!" Бароны, в слезах, подтвердили решенье Три-
стана,
И Тристан, взяв с собой Горвенала, отплыл в Корнуальские земли.

Н. БЕРБЕРОВА

25 ЛЕТ СМЕРТИ А. А. БЛОКА

Ему было бы сейчас шестьдесят шесть лет*). Он был бы сед, худощав, красив (той благородной красотой, какой был красив всю жизнь). Глаза его были бы все так же светлы, может быть, стали бы еще светлее. Он был бы нашим современником. Он, вероятно, не остался бы в России, выехал бы году в 1925-ом, после последнего литературного события — юбилея Федора Сологуба, отпразднованного в Александринском театре «всем Петербургом». Он выехал бы, вероятно, очень усталым, может быть, едва живым, но без иллюзий, от Андрея Белого узнав, что такое послевоенная Европа и что такое — русская эмиграция, и здесь жил бы не совсем так, как все мы: наверное, еще уединеннее, тише и печальнее.

Он жил бы в стороне от ПЭН-клубов, обедов, заседаний и литературных салонов, далеко от литературных самолюбий и литературной иерархии, скорее где-то между Цветаевой и Ремизовым — в бедности, одиночестве и тишине, с той разницей, что иностранцы не оставляли бы его в покое.

И лишь некоторые русские недоросли, поворачивающие по-русски с сильным французским акцентом и ничего не читающие, может быть, имели бы право спросить, когда настала война (как спрашивали про Вячеслава Иванова):

— Блок? Да разве он еще жив?

Он умер, умер! Его нет. Но если бы он жил, в этом году ему исполнилось бы шестьдесят шесть, он мог бы быть среди нас, и возрастная разница между ним и нами, бывшая громадной 25 лет тому назад, сейчас казалась бы и ему, и нам почти ничтожной.

Он жил бы где-нибудь не слишком близко от наших редакций, от наших гостиных и кафе, но иногда мы бы, все таки, встречали его: в теплую ночь поздней Пасхи на рю Дарю, у заутрени, или в боковых местах «для писателей» на премьере русского театра, или в русском книжном магазине, листающего рассеянно чью-нибудь тоненькую книжку стихов. Мы могли бы иногда разминуться с ним: «Ах, как жаль, что вы так поздно, — сказал бы нам кто-нибудь на верниссаже русского художника, — только что был Блок». Или при нас пришло бы кому-нибудь письмо, и человек, его получивши, взглянув на подпись, пробормotal бы: «Это от Александра Александровича».

*) Блок родился 16 декабря 1880 г.

Как и Марина Цветаева, он богоговорил Германию, Германию «до той войны», Германию университетов, философов и музыкантов. То, что он писал в 1909-ом году, в письме к матери, сейчас нам кажется таким же преувеличением, как и некоторые стихи Цветаевой. Нашел ли бы он в себе силы пережить и осмыслить эту войну? Цветаева не перенесла налетов германских бомбовозов на Москву. Для Блока были бы одинаково ужасны и завоевание Европы Гитлером, и то, что переживает Германия сейчас.

(Между прочим, обратил ли кто-нибудь внимание на то, что Цветаева повесилась, т. е. умерла, как **Есенин**, в день смерти **Блока**, иначе сказать: погибла «в традиции русской поэзии»?).

Двадцать пять лет событий мировых и личных, отдаление от нас России, путь русской поэзии, исчезающей у нас на глазах, завершающейся смертью Ходасевича, самоубийством Цветаевой, гибелью Осипа Мандельштама, упадком Ахматовой, делают сейчас Блока классиком. Но если взять что-нибудь, над чем современный человек нашего поколения (приходящийся Блоку «сыном», а Иннокентию Анненскому — «внуком») может испытать чувство трепета, чувство чего-то неугасимого, как собственное свое человечество, то это именно — от блоковских стихов, которые росли вместе с нашей молодостью, вместе с нею кончились и напорочили нам наше будущее.

Помню, в детстве, в Петербурге, в зале Армии и Флота, на Литейном, я в первый раз увидела его, в 1916-ом году. Мало что запомнилось мне из тех лет так, как запомнился тот вечер. Я помню, как я пришла из гимназии, и моя мать сказала мне, чтобы я скорее справилась с уроками, что мы вечером «пойдем слушать поэтов». Помню свое коричневое, но не форменное, а парадное, бархатное платье, волнение, невозможность за обедом проглотить кусок. Мы жили недалеко, вечер был апрельский, чистый. Страх был опоздать, не найти мест. Зал был ярко освещен и полон. Мы сели в места довольно далекие, однако, нам было и видно, и слышно. Перед поэтами, подано было Мейерхольдом какое-то представление, из которого я ничего не поняла, так как классический репертуар Александринки не подготовил меня к подобным театральным действиям. Потом был перерыв, после которого читали Блок, Сологуб, Ахматова, Кузмин, Городецкий и еще кто-то, кого детская память моя не удержала.

Скажу правду: мой тогдашний восторг поровну делился между Блоком и Ахматовой (которой я, конечно, подражала, как все девочки); даже больше скажу: в тот вечер именно Ахматова, а не Блок, была для меня чем-то несравненным, чем-то сверхъестественным. Он был несколько красен лицом, волос было уже гораздо меньше, чем на портрете Сомова. Черты лица, при всей их правильности, показались мне усталыми, ютяжелевшими. Она была в белой платье, с высокой прической черных волос, с бессмертной незавитой челкой над глазами и тем стюартовским воротником, который был моден в те годы. Она читала

свои военные стихи («Вестей от него не получишь больше, Не услышишь ты про него, В объята́й пожаром скорбной Польше Не найдешь могилы его»). Он читал «Музу», которую я знала наизусть, стихи из третьего тома и, между прочим, это:

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та-ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.

Читал он глухим голосом, закинув голову. Она же читала, слегка пригнув голову и сложив руки высоко у груди.

Потом случилось одно из больших событий моей отроческой жизни: близкий друг Ахматовой, Т. В. А., хорошо меня знавшая, подвела меня к ней и сказала что-то. Ахматова протянула мне худую руку:

— Очень приятно.

— Познакомьтесь, Александр Александрович, вот девочка тоже пишет стихи.

— Очень приятно, — сказал и Блок, и тоже протянул мне руку.

Я убежала с колотящимся сердцем, я ничего не видела, не слышала. Ноги мои не держали меня. Уже только на следующий день я поняла, что бежать не следовало, что можно было, что должно было остаться, хотя бы минуту или две, что то был случай, который никогда не повторится. Много лет спустя (через шесть лет, в 1922-ом году), я напомнила Ахматовой наше «первое знакомство», — она его, конечно, не помнила. Она даже не помнила этого вечера, своего выступления — слишком много в ее жизни было таких вечеров, таких выступлений. Блока же я увидела только на смертном одре. Волосы его были совсем редкие, темные. Обросшее бородой лицо было неузнаваемо.

Он умер 7-го августа 1921-го года.

В этот день, под теплым дождем, часа в три дня, я отправилась (в ужасной тоске — времена были очень тяжелые, Гумилев был арестован за три дня до этого) в Дом Литераторов, на Бассейную. Жили мы тогда за Таврическим садом. Я где-то на Кировной пережидала ливень. Придя в Дом Литераторов, я увидела в сенях наклеенное траурное объявление «скончался.. Блок...». Я заплакала в дверях: Вышел Б. О. Харитон, который тогда меня не знал, и стал спрашивать, что со мной, называя меня «барышня». Я не отвечала. Тогда он спросил: «О Блоке?», и я сказала: «да».

Панихида на Пряжке, в его квартире, была объявлена в этот же день, часов не то в 5, не то в 6. Не знаю, что я делала на улицах это время. Я зашла в цветочный магазин и купила белые лилии — были тогда уже и магазины, и деньги. Потом на площадке трамвая довольно долго ехала, потом шла пешком. Я пришла на панихиду рано. Двери

маленькой квартиры были незаперты. Ход был не то из-под ворот, не то со двора. Лестница темная и грязноватая. Передняя была пуста. Если не ошибаюсь, налево была кухня, направо — его кабинет, где он и лежал. Меня впустили к нему, ничего не спросив, и я положила на простыню, которой он был покрыт, в ноги ему, мои цветы. Они были первыми.

Мы были наедине минут пять. Он лежал углом, справа от окна.

Я смотрела на него, замученного, бледного, обросшего, совершенно непохожего на портреты. В окно была видна Пряжка. Вспоминались почему-то стихи Ахматовой: «Я пришла к поэту в гости». Обои были темные, в крупный рисунок.

За панихидой помню: мать, жену, тетку М. А. Бекетову, Княжнина, Е. Иванова, Е. Книпович, Н. Павлович (стоявшую пригорюнившись, по-старушечьи). Позже, под конец, пришла М. Шагинян. Был, кажется, Пяст, было еще двое-трое мужчин, но я в то время еще почти никого не знала, только неделю тому назад я была принята в Союз Поэтов. Всего народу было не более 12-15-ти. Цветы принесла еще Шагинян — букет фиалок.

Сама панихида оставила меня довольно равнодушной. Но ночью дома и весь следующий день была ужасная тоска, — особенно был тяжел семейный праздник, так как на 8-ое августа приходится день моего рождения. День похорон был очень солнечный. Любовь Дмитриевна совсем опухла от слез, лицо ее было толсто и красно, она мне тогда казалась уже не очень молодой. Телом тоже была толстая. Удивительны были глаза Е. Книпович — в ней была какая-то для меня таинственность. У А. А. (матери) носик был, как клюква.

Хоронил его весь Петербург, все, что еще осталось от Петербурга.

Припоминая теперь это изменившееся лицо, эти поредевшие волосы, я вспоминаю Скрябина. Его первая жена, Вера Ивановна, оставленная им, спустя несколько лет увидела его в Москве, в концерте, где Скрябин впервые выступал, по возвращении своем из за-границы. Она была на хорах, стараясь юстаться незамеченной, едва удерживая слезы, и столько же волновалась и терзалась его музыкальным успехом, сколько его музыкой по существу (сочиненной уже без нее), и его преобразившейся за эти годы наружностью. Ночью, вернувшись домой, она записала в своем дневнике: «Разрушитель мира? Пусть так! А волосики-то, все таки, поредели!».

Дневник этот цел и, вероятно, когда-нибудь сделается доступен **).

У Блока была старая мать. Она умерла лет 20 тому назад. Была жена, Л. Д., у которой, по словам советских литературоведов, хранился архив Блока. Она тоже умерла — в 1939-ом году. Она была на год

**.) Записано со слов дочери Скрябина.

моложе Блока. Ни детей, ни сестер, ни братьев у него не было (была сводная сестра, рано умершая). Никаких материальных прав на его наследие, на его бумаги не существует. Никому сейчас не нужны, эти бумаги, вероятно, свезенные в Пушкинский Дом, ждут своего историка, исследователя, комментатора, который появится тогда, когда уже не останется никого, кто знал Блока лично, когда угаснет живая память о нем, когда недоговоренности, недописанные имена, намеки умрут, как иероглифы древности, и утратится к ним ключ. Что делать! Не нам об этом жалеть, не нам отчаиваться: ведь мы имеем высокое счастье считать его почти современником.

Мы стали за последние годы особенно жадны до стихов и прозы, где бы говорилось не о предках наших, но о нас самих. Время идет и уходит, и сейчас уже не остается сомнений: Лев Толстой писал о наших предках, а Достоевский — о нас самих. Характерно, что европейская молодежь считает Толстого романистом, писавшим прекрасные семейные и любовные истории, а Достоевского — юдним из столпов современной философии. Это нисколько не умаляет первого и не возвеличивает второго, но нашей теперешней жажде услышать о самих себе второй отвечает, а первый — нет. Николай Ростовы, Стивы Облонские и богобоязненные, праздные, многодетные их жены — мы не узнаем в них себя, но мы узнаем себя в Кириллове, Ставрогине, Раскольникове и Мышкине. Такова таинственная судьба литературных героев. Больше и вернее, чем кто-либо, Блок в своих стихах — **наш**, писал о **нас**, любил то, что любим — **мы**, гадал о **нашей** судьбе. Потому мы трепещем от некоторых его строк так, как если бы мы сами в незапамятные времена их произнесли впервые; наши юношеские слезы — на каждой странице мусagetовского издания его стихов. И потому так соблазнительно и горько представлять его себе, еще живым, живущим где-то, не далеко и не близко, стоящим на грани старости, но все еще не стареющим, «притворяющимся не погибшим».

О РАЗНОВИДНОСТЯХ РУССКОГО ПЯТИСТОПНОГО ЯМБА

Две у людей, а у зверей четыре
Стопы, но в некий час узнала я,
Что у иных, в трехмерном этом мире,
Бывают пятистопные друзья.

Анна Присманова.

Старинный бич — варварская терминология — до сих пор терзает русское стихосложение. Да это и понятно: наш век не ищет точности в определениях явлений, не затрагивающих прямые основы вещественного бытия. Античная метрика была основана на долготе и краткости слогов: стихи пелись. Но мы, говоря о лирике, не думаем о лире, и столь частая в русской классической поэзии замена слова “поэт” словом “певец” кажется нам поэтической условностью. Однако, тоска по утраченному словесно-музыкальному раю не умирает в душах стихотворцев, и часто поэт читает свои стихи с подвыванием, ничуть не обусловленным логическим содержанием стихотворения. Так читал и Пушкин, по словам современников.

Русская тоническая версификация орудует ударенностью и неударенностью. Французский театральный способ читки стихов с патетическим растягиванием — совершенно чужд русскому уху, но надо думать, что он в некотором отношении ближе к античному скандированию; а французский традиционный александрийский стих едва ли не ближе к гекзаметру, чем русские ритмы “размером подлинника” — хоть такое утверждение и может показаться парадоксальным по отношению к французскому стихосложению; ведь оно именуется силлабическим грубо и неточно (еще недостаточнее, чем наше — тоническим), и условные схемы так же не покрывают его возможностей, как казенные формулы не соответствуют подлинным данным русского стихосложения. Впрочем, в русской поэтике уже принято называть русское литературное (а не народное) стихосложение силлаботоническим.

Греческие названия, заимствованные из греческой же метрики — досадная помеха, как и все чужое и отжившее. Но как быть? Реформа трудна, да и мало кто о ней заботится: “век шествует путем своим железным”. Следует допустить, что наш современник, владеющий чешским или венгерским языком, может составить себе довольно правильное представление о древнем скандировании, так как в этих языках количество может не совпадать с качеством, то-есть в одном и том же слове долгота может падать на один слог, а ударение на другой. Многие из нас ясно это поймут, вспомнив русские военные команды с их разделением на предварительную и исполнительную. Как срывался голоса у прапорщиков! “Рота — стой!”. Тут в слове “рота” ударение явно на первом слого, а долгота на втором. Или старинное “слушай!”, где второй слог настолько долог, что в русском слуховом восприятии заимствовал ударенность первого слога, что позволяет Пушкину риф-

мовать слушай — плошай, а Гольц-Миллер (революционер 60-ых годов) построил на этой особенности целое большое стихотворение: “Слу-шай!”.

Ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий — эти объедки с барского стола — оказались до того неудобоваримыми, что не так давно в русской теории стихосложения (вплоть до начальных учебников!) появились пресловутые пеоны, о которых в XIX-ом веке неоднократно печаталось в специальных сочинениях, например в хороших, хотя и не лишенных несуразностей, “Правилах стихосложения” 1838-го года. Но эти “пеоны”, во-первых, не имеют ничего общего с пеонами, как понимали их греки, а во-вторых, сбивают и затемняют и без того нелепую систему пяти заимствованных метров. Действительно, благо пеоны принимаются в лово российской словесности, почему не пойти по этому пути и дальше? Почему не ввести, кроме четырех пеонов, и четыре эпитрита? Например: “друг спал крепко” — эпитрит четвертый!

В древней метрике было 28 видов стоп, и при некотором напряжении можно на любую из них (и на любую их комбинацию) сочинить пример по-русски, заменяя долготу ударенностью, что, по существу, совершенно неубедительно. Попыты в этом направлении были сделаны Валерием Брюсовым, в частности в его книге, которая и называется “Опыт”. “Велосипедист был бит”. Почему не сказать, что эта строка двустопна и состоит из дипирихия или прокелевсматика (четыре кратких: велосипе) и тримакра или молоса (три долгих: дИстБЫлИт)?! Нет, лучше уж придерживаться школьных навыков и подгонять эту строку под четырехстопный хорей (вЕло-сИпе-дИст-был-бИт). Конечно, недостатки классификации ничуть не препятствовали многочисленным попыткам переводов “размером подлинника” с древних языков (проф. Зелинский и др.). Переводились самые невероятные размеры.

Несостоятельность принятой системы ясна, но попытки упорядочения еще не стали достоянием школы. В 1837-ом году вышла “Теория русского стихосложения” А. Кубарева, в которой автор предлагал систему тактов взамен традиционных ямбов и пр. Этой системе, очевидно, не хватало качеств, необходимых для того, чтобы русская школьная традиция решилась расстаться с общепринятой терминологией. За неимением рациональной терминологии, можно, вслед за А. Белым (“Символизм”), говорить о “полуударениях” каждый раз, как данная строка не сплошь покрывается принципиальной метрической формулой. “Мой дядя самых честных правил”: нормальный четырехстопный ямб (четыре ударения, по одному на каждый четный слог). “Когда не в шутку занемог”: полуударение на третьей стопе, на слоге “за”. На самом же деле, никакого полуударения и даже четверти ударения, нет и в помине! Это — пиррихий, о которых говорит еще “Русская Просодия для благородных воспитанников Университетского пансиона” 1814-го года. Впрочем, нам от этого не легче...

Игра “полуударений” представляет обширные возможности, в значительной мере использованные Пушкиным (“Адмиралтейская игла”, где из четырех номинальных ударений осталось два реальных; и т. п.). Эта игра в пятистопном ямбе еще живее, чем в четырехстопном. Но не следует упускать из виду, что это не более, как один из элементов в использовании возможностей

стиха: цезурные особенности и размещение слов различного удельного веса, связанное со всем этим распределение пауз и интонаций, словом все то, что составляет фактуру стиха — заставляет звучать по-разному два стиха, отвечающие одной и той же схеме в системе полуударений: “Роняет лес багряный свой убор” и “Утратил праздник светлый свой наряд” не равнозначны для внимательного слуха.

С точки зрения распределения ударений (другими словами, с точки зрения распределения призрачных полуударений или фактических пирихийев), мы приводим в заключение настоящей статьи 15 образцов пятистопного ямба, из которых лишь № 15 есть классический ямба, пересаженный на чуждую почву так называемого тонического сложения. В нашу таблицу вошли только “натуральные” ямбы, то-есть ямбы с обычной ипостасой — пирихийем; мы не останавливаемся на таких случаях, где ямба умышленно перебивается введением инородной стопы, как например:

Плавно катились нежные коляски.

Мы означаем римскими цифрами (и отмечаем прописными гласными) те стопы, на которые падает ударение. Пятая стопа необходимо несет на себе ударение, и потому мы ее не выделяем ни в одном из случаев. Для единообразия, наши примеры состоят исключительно из мужских стихов.

Но если мы примем во внимание, что любая из пяти стоп нашего натурального пятистопного ямба может быть заменена спондеем, а также и две стопы из пяти, и т. д., то это даст нам еще 31 возможную комбинацию, ни одну из которых мы не поместили в нашу таблицу. Приведем для ясности два примера. Замена первой ямбической стопы спондеевской стопой:

Мать, сыну будешь ты возвращена.

Замена третьей стопы:

Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком..

Это — чудовищный стих любимого нами Е. А. Баратынского. Здесь мы бесконечно далеки от пушкинских размышлений из “Домика в Коломне”:

Признаться вам, я в пятистопной строчке

✓ Люблю цезуру на второй стопе..

Впрочем, про Баратынского нельзя сказать, что это “пример, достойный подражания”. Что дозволено богу...

Здесь уместно будет сказать о том, что уже отмечалось в исследованиях о русской поэтике: фонетическое восприятие стихов значительно меняется из поколения в поколение, и когда Пушкин говорит:

Все кажется мне, будто в тряском беге

По мерзлой пашне мчусь я на телеге

— о пятистопном ямбе, не имеющем цезуры на второй стопе, то читатель XX-го века не совсем его понимает, так как ухо этого читателя давно привыкло ко всевозможным разновидностям стиха. Кстати, “Все кажется мне”... есть как бы бледный прообраз резкого “Резец, орган, кисть...”. Стало быть, современнику Пушкина чувствовалась шероховатость в стихах, которые представляются гладкими нашему современнику. Покойный В. Ходасевич не выносил шестистопного ямба без цезуры и считал его верным признаком безгра-

мотности в стихотворческом ремесле; но кто поручится, что наши близкие потомки не будут слышать этот ямб без всякого отвращения, если сейчас найдется хороший поэт, который напишет этим размером удачные произведения?

А вот и обратный пример: наш современник чувствует шероховатость в стихах Кантемира, казавшихся гладкими современнику Кантемира. Стихoved Квятковский указал, что при правильном чтении

Уме, незрелый плод

Недолгой науки...

звучит приблизительно как

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали...

В самом деле: русский интеллигент XVIII-го века был воспитан на французской метрике, в которой ритм обуславливается чередованием звуковых групп, несравненно менее подчеркнутых, чем в русской речи; французское ударение настолько слабее русского, что французы почти не ощущают в словах своего языка того, что кажется отличительным его признаком иностранцу: ударения на последнем слогe!

Наша таблица может быть любопытна для любителей стихов. Но в ней нет ничего исчерпывающего, и можно даже сказать, что те разновидности русского пятистопного ямба, которые нашли в ней место, и та точка зрения, с которой они нами рассмотрены, это — капля в море бесконечных вариаций, из которого каждый автор берет свои, только ему нужные и родственные элементы, и этим отбором создает свой личный неповторимый тембр (мы не говорим, понятно, о дурных поэтах, не имеющих своего лица). Четырехстопный ямб был в большом употреблении у Пушкина и его современников ("Им пишет всякий"), однако, железный ямб князя П. Вяземского очень далек от пушкинского по тембру.

Кому из профессионалов стихотворства не известно, что органическая и подсознательная склонность к благозвучию так же свойственна некоторым поэтам, как другим — органическое-же и непреодолимое влечение к какофонии (что может не исключать больших поэтических способностей)! Стихи — это и музыка, и мысль, и воля: совершенное равновесие этих элементов недостижимо на Земле.

- 1) I обрУшивающиеся дома
- 2) II необитАемые острова
- 3) III и велосипедИсты отдохнут
- 4) IV индустриализациОнный год

- 5) I-II завИдный вВигрыш определен
- 6) I-III сердЕчные предАнья оживи
- 7) I-IV напУтствовали старикИ детей
- 8) II-III пересекАть пустЫнную страну
- 9) II-IV необозрИмая толпА зевак
- 10) III-IV и переночевАть в лесУ глухом

- 11) I-II-III служЕнье мУз не тЕршит суеты
- 12) I-II-IV моЯ любОвь, непобедИмый враг
- 13) I-III-IV минУтное забвЕнье горьких муз
- 14) II-III-IV перевозносИ дела старИнных дней

- 15) I-II-III-IV глядИм назад, следОв не вИдя там.

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН

КАК ОНИ УМЕРЛИ

Дмитрий Сергеевич Мережковский умер внезапно, в Париже, в воскресенье, 7-го декабря 1941-го года, в день, когда Япония вступила во вторую мировую войну. Ему шел 77-ой год.

Он не был болен. Вообще болел редко. За двадцать последних лет своей жизни он провел больным в кровати не более 3-4-х дней. Неизбежные гриппы он высиживал дома, продолжая работать. Одно из исключительных свойств его природы было полное отсутствие лени. Он писал немного, несколько часов, по утрам, но каждый день, посвящая остальное время чтению и подготовке следующей книги. Отвлечь его, однако, от утренней работы не могло ничто, никакая болезнь. Но его жена, Зинаида Николаевна Гиппиус, при малейшем его нездоровьи, начинала беспокоиться, пристально, с затаенной тревогой, за ним следить и, пока он не поправлялся, не выпускала его из дому. Из-за этого между ними часто происходили ссоры. Д. С., чувствуя себя лучше, рвался гулять, особенно когда погода была хорошая — «гулянье — свет, а негулянье — тьма», — говорил он. З. Н. не пускала, находя, что он еще недостаточно «высидел». Не желая ее огорчать, Д. С. уступал. Гуляли они всегда вместе, а последний год она не отпускала его одного ни на шаг, даже к парикмахеру. Боялась, что с ним что-нибудь случится.

Этот ее постоянный страх за Д. С. казался необъяснимым, глупым, иногда — смешным. Но что ей было делать? Он ее преследовал, и чем дальше, тем неотступнее. Она бы и рада была от него избавиться, да как? «Я с детства отравлена смертью и любовью», — пишет она в своем дневнике. — «Я еще живу, потому что любовь еще владеет мною и выражается страхом». Но то, чего она так боится, принимает, на фоне общей мировой катастрофы, почти осязательную форму: «Боже мой! Боже мой! что будет в моей новой зеленой ажанде?», — спрашивает она в канун 41-го года. Это — больше, чем предчувствие. Это — знание. Она как бы знает, что Д. С. умрет первый, и что смерть его подстерегает. Но так как «времена и сроки» от нас скрыты, всякую болезнь Д. С. она переживает, как смертельную, всякий наступающий день как последний.

Есть счастье у нас, поверьте,
И всем дано его знать.
В том счастье, что мы о смерти
Умеем вдруг забывать.

Не разумом, ложно-смелым
(Пусть знает, твердит свое),
Но чувственно, кровью, телом
Не помним мы про нее.

Бедная З. Н.! Как лег на нее в детстве гробовой камень, так до сих пор и лежит. Хоть иногда вздохнуть свободно — и то счастье. Но и оно почти недоступно. Все напоминает о смерти. «Вот слово, будто меж строк, глаза больного ребенка», — и конечно, «опять отравлена кровь». Если б даже она смирилась, признала, что все — в воле Божьей, что пытаться ее нельзя и не надо — перед смертью все равны, — могла ли бы она забыть то, что ей открыто и что не помнить — не дано? Но раз нельзя «забыть будущее», почему бы не попытаться его исправить, изменить судьбу? И она эту ютчаянную попытку делает, решает, что первая из жизни уйдет она, убеждая себя, что и Бог иначе решить не может, не должен. Ей кажется, что и для нее, и для всех лучшего выхода нет. «Моя смерть — какое освобождение!». И она серьезно начинает к ней готовиться.

6-го января, в русский сочельник 1922-го года, почти за 20 лет до смерти Д. С., она обрывает свою запись и красным карандашом ставит внизу страницы большой крест. На следующей, через месяц, она пишет огромными буквами: **«Конец всем моим дневникам; отсюда, от дня, которого не будет более сто лет, — 2-2-22 —, начинается мое заключительное слово».**

Но эта попытка духовного самоубийства — «потушить душу», как она говорит, — не удастся. Она слишком «живуча», слишком еще полна сил, которые так и не найдут себе применения. И сколько бы она ни пыталась внутренне себя уничтожить, — своей воли к жизни ей не сломить. Да и Бог Своего решения не меняет. «Нет, нет, затянуться туманом, — пишет она в конце «Заключительного слова». — Быть «около себя», потушить душу действительно, т. е. и для себя самого. Потому что я не могу, не могу! Нельзя выдержать!». Однако, она выдерживает, несмотря на «пытку страхом», от которой ей уже деваться некуда. Но тайне она продолжает надеяться, что смерти Д. С. не увидит, уйдет первая. Если же Бог решения Своего не изменит — тем хуже для Него.

Но предчувствовал ли свою смерть сам Д. С.? Сказать с уверенностью — трудно. Ни дневников, ни писем, кроме — за редкими исключениями — деловых, он после себя не оставил. По свидетельству З. Н.,

он к смерти был готов и принимал ее спокойно. Есть на это указания и в его последних стихах:

Склоняется солнце, кончается путь.

Ночлег недалеко — пора отдохнуть.

Или:

Скоро скажу я с улыбкой сыновней:

Здравствуй, родимая Смерть.

Но действительно ли предчувствовал Д. С. свою смерть или только случайно о ней думал — кто в старости не думает порой о смерти? — не важно. Важно, как он к ней относится, на что надеется. З. Н., в одном из своих стихотворений говорит о смерти:

А я ее всякую ненавижу,
Только свою люблю, неизвестную.

Любит ее и Д. С., но не за то, что она «горю земному — предел неземной», что тоже особой оригинальностью не отличалось бы. Он ее любит, как избавительницу от двойного изгнания, за «вечную радость», какую она предвещает, — радость райского соединения родины земной и небесной. Мысль о смерти неразлучна у него с мыслью о России. Как и для древних египтян, смерть для него — возвращение на родину. И не случайно его последний разговор с З. Н., накануне смерти, — о России. В своем стихотворении «Сонное», из всех его последних стихов единственно действительно пророческом, без «предчувствий» и надсоновских восклицаний, он удивительно просто и хорошо рассказывает о каком-то видении, сокровенный смысл которого от него самого — тоже, может быть, не случайно — ускользает:

Что это — утро, вечер?
Где это было, не знаю.

...Тишь, глушь, бездорожье,
В алых маках межи.
Русское, русское — Божье
Поле зреющей ржи.
Господи, что это значит?

— спрашивает он, не понимая. Но душа его плачет от радости, как будто чувствует близкий конец разлуки.

И чем ближе этот конец, тем неземное становится для него все более земным, родным, русским, — человеческим:

Посподи, иду в неизвестное.
Но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
Такое же, как земное.

Эту молитву З. Н. мог бы повторить и он. Кстати, она отмечает в своей записной книжке: «Тот свет — ближе и доступнее, чем Россия». А что до этого, то он кажется Д. С. все грубее, все нечеловечнее. Перечитывая стихи Ходасевича, он подчеркивает строчку: «В непрочной грубости живем», и, может быть, ею навеяно его стихотворение «Главное»:

Доброе, злое, ничтожное, славное —
Может быть, это все — пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви — всего...

Торжество этой грубости, дикости, нечеловеческого в человеке — война. Он ее задолго предсказывает в своей книге «Атлантида — Европа», и уже по заглавию видно, чего он от нее ждет. Но всю тяжесть двойного изгнания, — двойной потери, он по настоящему начинает чувствовать в 39-ом году, когда наступает катастрофа. Россия провалилась, но был мир. И вот мир тоже провалился. Царство лжи и человекоубийства — земной ад, в котором он проведет два последние года жизни, пышным цветом расцветает на месте, где некогда была Европа — «страна святых чудес».

Война застаёт Мережковских в Париже. Опасаясь воздушных бомбардировок, французское правительство усиленно рекомендует всем, кто может, покинуть столицу. Паника — преждевременная: непосредственной опасности Парижу не грозит. Но через неделю после объявления всеобщей мобилизации, Мережковские, в кошмарных условиях, уезжают в Биарриц. Там они, сравнительно благополучно, проводят три месяца и в декабре возвращаются на свою парижскую квартиру.

Зима 39 — 40 гг. проходит под знаком «*drôle de guerre*», Скуки с большой буквы, как говорит З. Н. — «О, как надоела война, большевики и все вообще», — отмечает Юна в записной книжке. В январе она заболевает гриппом и больше двух недель не выходит. — «Не писала, потому что все то же, лежанье на постели, думанье ни о чем, бледная радость, что я больна, а не он». — Но через несколько дней: «Я-то ничего — что мне! а вот он, кажется, опять. Кашляет, и, верно, температура». «Да, с утра он кашляет», — записывает она на следующий день. Она начинает беспокоиться: «Нет, не могу писать. Такая тревога на сердце». Но к первому февраля оба выздоравливают и возобновляют свои ежедневные прогулки.

Каждое воскресенье, перед приемом — у них, по старой, еще с петербургских времен, традиции, в этот день собираются друзья, — они заходят, гуляя, к маленькой Терезе, в церковь на rue La Fon-

taïne. Они Ее нежно любят и верят, что Она им, в трудные минуты, помогает. Перед Ее статуей, в их гостиной, — всегда свежие цветы, на которые они не скупятся. Д. С. собирается писать о Ней книгу, у З. Н. много посвященных Ей стихотворений. Этот культ продолжается до самой смерти Д. С.

Весной 40-го года наступают известные всем события. «Стоячая война» кончена. Немцы занимают Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и вторгаются во Францию. Париж — под угрозой. Друзья советуют Мережковским уехать. Они колеблются — у них мало денег. Но к началу июня ход событий ускоряется и, с большой неохотой, Мережковские решают ехать опять в «этот поганый Биарриц», как называет его З. Н. Недаром она его так не любит. К счастью, они во-время успевают заказать спальные места, и, еще до паники, в среду, 5-го июня, уезжают.

В Биаррице начинаются мытарства. Город переполнен. Отель «Метрополь», в котором они остановились, через несколько дней после их приезда, реквизируют под какое-то бегущее из Парижа правительственное учреждение. Мережковские остаются на улице. Они находят себе приют, на одну ночь, в пригороде, на вилле, за которую уже дал задаток французский писатель Жорж Дюамель. Он любезно разрешает им переночевать, но больше не появляется. Вторую ночь они — на вилле у знакомой дамы, где останавливались в прошлый приезд. На третью — в «Maison basque», когда-то хорошим отеле, а теперь — ночлежке для беженцев. Там они застревают надолго. Найти помещение более подходящее и думать нечего, да и денег почти уж нет. Комната в «Maison basque» стоит недорого — 70 франков в неделю. В крайнем случае, можно не платить — не выгонят.

14-го июня немцы вступают в Париж. З. Н. записывает: «Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами... неужели я это пишу?». 28-го июня немцы — в Биаррице. — «О, какой кошмар! — восклицает она. — Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве, с грохотом, в таких же черных, закоптелых машинах... Почти нельзя вынести». Итог за июнь — лаконичен: «Погода все лучше. Черных роботов, отливающих зеленым, все больше. Выношу их все меньше. Наше положение все хуже». Положение Мережковских действительно не блестяще. Деньги — истрачены. Заработка — никакого. Об авансе от французских издателей в этом хаосе не может быть и речи. От заграничных отделяет оккупация. Помогают друзья, но на это не проживешь. Бывают дни, когда вся их еда — кофе с черствыми корками. «Бедность, чужбина, немощь и старость». Но, к счастью, находится один неизвестный человек, «добрый самаритянин», как его называют Мережковские, который их кормит, — носит им то котлеты, то манную кашу, то кисель. Те, у кого есть возможность, приглашают их завтракать либо обедать. Наконец, друзья, чтобы немного им помочь, устраивают, под председательством Клода

Фаррера, чествование по случаю семидесятилетия Д. С. Оно имеет успех и приносит чистыми около семи тысяч франков. Мережковские покидают ненавистный «Maison basque» и переезжают в большую виллу «El Recreo», где устраиваются на зиму.

Но дней за десять до переезда, Д. С., пообедав где-то в гостях, заболевает длительной и неприятной, хотя и не опасной, желудочной болезнью, какой многие в Биаррице болеют. З. Н. от страха совершенно теряет голову. Ей кажется, что это — конец. На «El Recreo» у каждого своя комната, но она поселяется в одной с Д. С., чтобы не покидать его и ночью. Кроме, как о его здоровье, она ни о чем другом ни думать, ни писать не может: «В вилле хорошо, но ему все не хорошо»... «Уж не выходит, лежит целый день». «То-же, то-же». «Боль, боль и ничто не помогает». Так проходит месяц с лишним, пока Д. С. не обращается к хорошему врачу. Тот приписывает верное лекарство, и Д. С. начинает понемногу поправляться. З. Н. успокаивается.

Однако, не надолго. Такой зимы, как зима 40 — 41 гг., еще не бывало. Окружающая их атмосфера катастрофы, дышать в которой все труднее, «Прекрасная Дама Бедность», их постоянная гостья, голод, холод — в декабре температура падает до 18-ти ниже нуля — вечные заботы, вечные униженья и, наконец, болезнь — все это оставляет на Д. С. след. И, хотя он легок и бодр почти, как прежде, вид у него порой усталый, каменный. Но эта усталость не от жизни, которую он со всеми ее мелочами продолжает любить по детски, а от того, во что ее превратили. «Состарила меня эта война», — повторяет он часто. Утомлена и З. Н. «Призрак конца» преследует ее день и ночь. Она старается его отогнать, отвлечь внимание на другое, но тщетно. Ни полицейские романы, ни маленькая Тереза не помогают.

Я съужен на единой мысли,
Одно я вижу острие.

Даже смерть их близкого друга, Д. В. Философова, о которой они узнают случайно, в конце августа 40-го года, потрясает их не так, как если бы он умер несколькими месяцами раньше. Что же до других бед, на которые судьба не скупится, то З. Н. к ним, в сущности, равнодушна. Неприятно и досадно, конечно, что их парижская квартира описана за неплатеж, и что их выселяют. Неприятно еще и многое другое, но все это сравнительно пустяки и поправимо. Главное это, чтоб Д. С. был здоров, не волновался и работал.

И он работает, преодолевая все — голод, холод, болезнь, страх. Его сопротивляемость, воистину, чудесна: ни своей внутренней свободы, ни ясности мысли он не теряет. В «Maison basque», больной, полуголодный, он кончает первую часть «Испанских мистиков» — «Жизнь Св. Иоанна Креста» и начинает вторую — «Жизнь Св. Терезы Авильской». Кончив «Испанцев» — уже на «El Recreo» — он

тотчас принимается за новую книгу — последнюю из цикла «От Иисуса к нам» — о маленькой Терезе. Одновременно, он собирает материал для книги о Гете. По поводу нее он как-то, в шутку, замечает: «Эти святые довольно таки мне надоели. Напишу-ка я об язычнике Гете». Но увы! Написать о Гете ему не суждено. Он читает также несколько лекций — о Леонардо да Винчи, о Паскале. Последняя вызывает критику правоверных католиков — яростную и невежественную. Лекцию о Наполеоне, объявленную в казино, немцы в последнюю минуту запрещают — неизвестно почему. Для Мережковских это — шок. Они надеялись немного поправить его свои дела: она, наверно, имела бы успех. А дела — неважны. «Прекрасная Дама Бедность» посещает их все чаще и остается все дольше. Единственный договор, который Д. С. удаётся заключить, это — договор с немецким издателем о новых книгах. Но условия — невыгодные, и аванс — ничтожный, с уплатой не сразу, а в три приема. Последних двух взносов Д. С. так и не дождался.

В начале июля 41-го года Мережковских, за неплатеж, выселяют с «El Recreo». Они переезжают в две меблированные комнаты на виллу «Эрмитаж», где провели вторую ночь после выселения из «Метрополя». Хозяйка им верит в долг. Там они остаются около двух месяцев и в сентябре возвращаются, наконец, в Париж для устройства своих дел и спасения квартиры. Это — их последнее путешествие.

В Париж они приезжают 9-го сентября, в 9 час. вечера. Число 9 их положительно преследует. Начало всех бед — война объявлена в сентябре, — сентябрь — девятый месяц — 39 г. Первый отъезд в Биарриц — 9-го сентября 39-го года. Возвращение в Париж — 9-го декабря 39-го года. Возвращение после второго пребывания в Биаррице — опять 9-го сентября. Но этого таинственного повторения Д. С. не замечает. Он боится «чортовой дюжины» — 13-ти, понедельника и пятницы. Не замечает его и З. Н., особенно внимательная к числам.

За числами слежу я очень зорко.
Как вещий знак, дает нам числа Бог.

Между тем, 9-ое сентября — число роковое именно для нее.

В Париже — прелестная поздняя осень. Мережковские рады, что дома, в своей, хотя бы и описанной, квартире. Снова маленькая Тереза — в цветах. Снова, по воскресеньям, они ходят к Ней на rue La Fontaine. Но салон их пустует. Друг № 1 — Мамченко, иногда — братья Лифари, Зайцевы, Тэффи. Бунина нет в Париже, он — на юге, в Грассе. Но объявляется неожиданно новый поклонник Д. С., студент-медик, Николай Журавлев, пишущий французские стихи. Раз или два заходит почтенный, белобородый старец, бывший член Думы — Тесленко. Его судьба странно переплетается с послед-

ними днями Д. С., как и судьба их давнишнего друга еще по России, князя В. Н. Аргутинского.

Жизнь входит в прежнюю колею. Биаррица, как не бывало. Д. С. работает, отдыхает, гуляет. З. Н. по вечерам, в своем «зеленом углу», запоем читает полицейские романы. Но с питанием плохо. Покупать на «черном рынке», где всего — вдоволь, нет еще привычки, да и не по карману. Когда-то, 22 года тому назад, в советской России, З. Н. могла еще писать шуточные стихи:

Не только молока и шоколада,
Не только булок, соли и конфет, —
Мне даже и огня не очень надо:
Две пары досок обещал комбед.

Теперь — не то. Теперь от «молока и шоколада» зависит их жизнь. Более же всего юни боятся холода, угля нет, а зима — на пороге. В октябре Д. С. начинает мерзнуть. Он работает в теплом пальто, ноги — в плеле. Не по средствам и папиросы. От их недостатка Мережковские «позорно» страдают. Ю «все это было когда-то». Гуляя раз, при большевиках, в Таврическом саду, З. Н. сочинила экспромптом четверостишие:

Равнодушно глаза прищуриваю
(Это стало моей привычкой).
Золотую папиросу закуриваю
Дорогой серебряной спичкой.

Все повторяется. Прошлое сквозь настоящее просвечивает, как сквозь, полуистлевший саван — тело мертвеца. То, что сейчас происходит в мире, — лишь повторение, в гигантском размере, того, что произошло в России. И, все таки, Д. С. от России не отказывается, верит в нее, вопреки всему.

Но проходит октябрь, ноябрь, наступает декабрь. Д. С. кончил первую часть «Маленькой Терезы» и пишет вторую. Теперь он работает не у себя, а в гостиной, где теплее. З. Н. — около него, в кресле, что-то шьет, погруженная в свои невеселые мысли. Иногда, он ей читает какой-нибудь удавшийся, как ему кажется, отрывок. «Хорошо?», — спрашивает он. З. Н. одобряет не всегда. Если она отвечает: «Плохо», — Д. С. уничтожен. Он спорит, сердится. Однако, на следующий день, а то и в тот же вечер, он забракованное исправляет, и выходит лучше.

Еще в конце прошлого месяца, в субботу, 29-го ноября, запись З. Н. внезапно обрывается, как будто она чувствует близость катастрофы и от ужаса немеет. На этой первой неделе декабря к Терезе они, против обыкновения, идут на два дня раньше, в пятницу 5-го,

тоже как будто чувствуя, что в воскресенье будет поздно. В субботу, 6-го, после небольшой прогулки и отдыха в кафе, Мережковские возвращаются домой, обедают, и затем Д. С., надев пальто и взяв книгу, устраивается на диване в гостиной, в «зеленом углу». У него немного болит голова и мерзнут руки, но нельзя же читать в перчатках! З. Н. — рядом, за столом, что-то пишет.

Вечерний чай. Разговор о России. З. Н. своих позиций не сдает: выше России — свобода. Д. С. не возражает:

«Да, да, — говорит он, — но это — отвлеченно. Без России мне и свобода не мила».

«А мне мила», — сердится З. Н.

Около часу ночи он уходит к себе. У него — привычка: вечером, перед тем, как лечь спать, он в столовой на диване, потушив свет, курит последнюю папиросу. «Что ты здесь делаешь, в темноте?», — спрашивает его как-то З. Н. — «Ищу надежду». Но в этот вечер он не курит, — забыл, и на вопрос З. Н.: «Что же твоя «папироса надежды»? » отвечает: «Все равно, в другой раз».

Он — в кровати. З. Н. заходит к нему попрощаться.

«Мы ее с тобой по-разному любим, — продолжает он разговор о России. — Я, как Блок:

Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

«Ты этого не понимаешь, — прибавляет он. — Но это — ничего».

Воскресенье, 7-го декабря. Д. С. встает, как обыкновенно, около 8-ми. Зажигает электрический радиатор и свет в умывальной. Выносит в столовую чашку с недопитым чаем, кладет на камин носовой платок, щетку, гребенку и садится в соломенное кресло около печки. Здесь, после умыванья, он будет причесываться, а сейчас греет руки. Но печка потухает. Надо бы подложить немного угля...

В 8 час. 30 мин. приходит *femme de ménage*. Она приготовляет кофе, чистит платье и, проходя по коридору, заглядывает, через стеклянную дверь, в столовую, которую, пока Д. С. умывается, надо успеть прибрать. Она удивлена, что в это утро Д. С. сидит у печки так долго. Но не замечает ничего, ей лишь кажется, что он — немного бледнее. Наконец, уже почти в 9 час., обеспокоенная, она входит в столовую и застает Д. С. в кресле, без сознания. Она бросается к З. Н. в спальню, отдергивает на окне занавески, будит ее: «*Venez vite, monsieur est malade*». Та, обычно просыпающаяся с трудом, вскакивает: «*Oui, je viens, je viens*». Вот оно то, чего она так боялась, это утро, подобное тому далекому петербургскому утру, когда умерла ее мать, и нянечка Даша ее с такой же поспешностью разбудила: «Скорей, скорей, мамочке дурно».

Накинув теплый, стеганный халат, З. Н. бежит в столовую, подходит к Д. С.: «Милый, что с тобой, ты болен?». Д. С. не отвечает. Она приносит одеколон, обтирает ему лицо. *Femme de ménage* спускается к консьержке, которая, по телефону, вызывает доктора. Тот приходит через 15 минут. Д. С. переносят в его комнату, укладывают в кровать. Доктор вспрыскивает камфору, кладет холодный компресс на сердце, другой — на голову. Д. С. часто дышит. З. Н., в своем черном халате, стоит к нему спиной лицом к иконам. Губы ее что-то шепчут.

Доктор делает второе вспрыскивание и уходит, обещая зайти перед завтраком. Надежды — никакой: кровоизлияние в мозг. Через полчаса после его ухода, Д. С., не приходя в сознание, умирает.

З. Н. выходит из его комнаты. Она — очень бледна, но, с виду, спокойна. На письменном столе в гостиной, где со вчерашнего дня приготовлено все для утренней работы, — раскрытая рукопись книги Д. С. о маленькой Терезе. Она обрывается на 13-ой странице:

«Маленькая Тереза своей обыкновенностью — необычайна. Кутается в серую будничность, как в серую куколку, тот жалкий червяк, о котором, устами Давида, говорит Сын Божий Единородный, устроивший миры и вечности:

...Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. (Пс. 21, 7).

Кутается в темную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь из нее ослепительно белой, как солнце, воскресшею бабочкой».

Это воскресенье, 7-го декабря, — бесконечно. Квартира Мережковских с утра полна народу. Многие приходят, ничего не зная, просто в гости, на воскресенье. Один из таких невинных визитеров — Тесленко. З. Н. сидит в полуосвященной гостиной, в обществе дам. Тесленко садится в столовой. На него никто не обращает внимания. Леонид Лифарь что-то записывает на краю стола. Вдруг Тесленко спрашивает: «А что Д. С. не выйдет сегодня? Он — нездоров?».

Когда, ровно через год, З. Н. приезжает в церковь, на панихиду по Д. С., первое, что она видит, это стоящий посередине гроб. Завтра отпевают Тесленко.

Весть о смерти Д. С. быстро разносится по Парижу, и на следующий день, в понедельник, на панихиде, которую служит двоюродный племянник Мережковских, молодой о. Дмитрий Клепинин, — почти все друзья. Среди них и князь В. Н. Аргутинский. Но в комнату, где лежит Д. С., он не заходит, остается в столовой, один: он боится покойников. В среду утром, 10-го декабря, — отпевание на *rue Daru*, и погребение на русском кладбище в *Ste-Généviève des Bois*. Перед службой, Т. И. Манухина, жена доктора, подходит к З. Н. и шепотом сообщает, что накануне, во вторник, Аргутинский внезапно умер.

Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! Этого почти нельзя себе представить, как и Дмитрия Сергеевича без Зинаиды Николаевны. Но только смерть могла их разлучить. По-человечески — жестоко, а по-Божьему, может, и милосердно, что первый умер — он, легко, в одночасье. Что было бы с З. Н., если б он умирал медленно, от тяжелой болезни? Что было бы с Д. С., если б он дождал до ее агонии? Но к постигнутому ее удару З. Н. относится по-человечески — не по-Божьему и переживает его, как незаслуженную обиду. Ей даже кажется, что духовно умерла и она: «Пишу теперь, когда моя жизнь кончена. Это я ощущаю со знанием, — записывает она через 10 месяцев после 7-го декабря. — Я пока еще живу физически — только — а потому смерти моей другие не видят, не понимают и не могут понять». Но не говорила ли она буквально теми же словами: «жизнь кончена» и 22 года тому назад? Правда: «Я все знала — и ничего. Теперь только, пережив последнее в жизни, я знаю что-то действительно. То-есть, когда действительно кончилось то, что было моей жизнью». Но действительно ли кончилось? Смерть близкого человека может в любящей душе оставить неизгладимый след, вечную рану, но душу не убивает. Убивает ее только грех. Нет, настоящая трагедия З. Н. в том, что, несмотря на постигший ее удар, она — жива, и что неиссякающая в ней сила жизни не находит себе выхода. Она многое могла бы еще сделать, — своего последнего слова она не сказала. Но в опустевшем для нее, со смертью Д. С., мире ей не на кого и не на что опереться. Да и мир в таком состоянии, что ничего, кроме скуки и тошноты, в ней не вызывает, — той особой тошноты, которая бывает только в аду, и для какой на человеческом языке нет даже слова:

Для тошноты подземной и навечной
Все здешние слова — ничто.

Она замыкается в себя и даже помышляет о самоубийстве. Только «остаток моей религиозности, — признается она (да, остаток, увы, увы! Моя, в сущности, ничтожность не могла устоять перед ударом, ее поразившим), удерживает меня от самовольного ухода из жизни (или и слабоволие?). Но жить мне нечем и не для чего». Какое признание! Но не вернее ли, не ближе ли к действительности было бы другое: «не я хочу себя убить — меня убивают». Да, все ее убивает, все против нее — и люди, и Бог, сама жизнь как бы от нее отказывается. Богу она смерти Д. С. не прощает. Маленькая Тереза — в немилости, под черным покровом, и — никаких цветов. К Ней, на rue La Fontaine, З. Н. тоже не ходит и до конца не пойдет. Но в этом бунте много детски-беспомощного. Перед лицом смерти, она — беззащитна, как малое дитя, которое неизвестно кто и за что обидет:

Не знаю, не знаю, и знать не хочу.
Я только страдаю и только молчу.

Ей холодно и одиноко. Мир для нее — ледяная пустыня, где она замерзает, подобно Каю в сказке Андерсена с «Снежной Королеве».

Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез.

Оно оттает, но не раньше, чем сложится из острых льдинок слово, которое она забыла и не может вспомнить: вечность.

Ей — 72 года, но она еще очень моложава и элегантна в своем черном платье. Она попрежнему посвящает много времени своему туалету, выходит, принимает и, мало-по-малу начинает работать. Ей надо написать книгу о Д. С., ибо только она одна знает и помнит о нем все. И она спешит, так как чувствует, что проживет недолго. Пишет она и стихи — длиннейшую поэму «Последний Круг», которую без конца переделывает. Но это — ее внешний, «дневной» юбик. Свое страданье она скрывает. Оно — тайное, темное, жадное, как неведомое чудовище, которое она кормит своею кровью. По ночам, у нея — постоянные кошмары. Часто, во сне, она вскакивает, повторяя: «*Oui, je viens, je viens*», как привиденье, скользит в столовую, подходит к печке, наклоняется над пустым креслом, где в то утро сидел Д. С., и произносит те же слова: «Милый, что с тобой? Ты болен?». Если утром слишком быстро отдергивают в ее комнате оконные занавески, она от этого звука опять переживает все сначала, торпливо вскакивает, путаясь в одеяле, и опять повторяет: «*Oui, je viens, je viens*». Это длится много месяцев.

Когда, 11-го ноября 42-го года, внезапно, на улице, умирает ее сестра Анна, она записывает в своем дневнике: «С того дня, в ноябре, когда умерла Ася, я каждый час чувствую себя все более оторванной от плоти мира (от матери)». Но эта связь с плотью мира, с «матерью-землей» еще не порвана и, может быть, окончательно не порвется никогда:

Всю я тебя люблю, Единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем, за гранью таинственную,
Вместе — и ты, и я!

— говорит она в одном своем стихотворении о земле. В ее сердце еще теплится надежда на чудо. И это чудо такое простое, такое возможное: «маленький человек с большим гюрем», как звали З. Н. в детстве, ждет,

чтобы его утешила, успокоила мать. Вот и все. «Своей смерти я не понимаю, или, пожалуй, не боюсь ее. Мне надо быть в осязаемой любви другого». Но этого чуда, от которого, может быть, оттаяло бы ее сердце, не совершается. Все та же вокруг нее ледяная пустыня, и в ней самой — все тот же холод:

Как будто льда осколок острогранный,
В меня вложили тайно, вместо сердца.

Незадолго до смерти у нее вырывается крик: «Но — мне все равно теперь. Я только и хочу — уйти, уйти, не видеть, не слышать, забыть...». И она уходит, понемножку, полужаметно, — навстречу тому чуду, которое искала и ждала всю жизнь.

Она много работает, по старой привычке, — ночью, выкуривая массу папирос. Когда устает писать, принимается за шитье — за починку своего белья, пока, от усталости, работа не вываливается из рук. Тогда, наконец, она ложится — почти на рассвете. Встает рано. Это в корне подрывает ее здоровье. Сначала у нее опухает правая нога. Но в одно из воскресений, в конце марта 41-го года, она, сидя у себя в комнате, за книгой, вдруг с полным спокойствием объявляет: «У меня, кажется, начинается паралич». Она жалуется на «мурашки» и на онемение правой стороны тела. Ее успокаивают. Однако, вызванный в понедельник утром, французский доктор Андре находит положение серьезным: склероз мозга, где затронуты некоторые центры. От З. Н. это, конечно, скрывают. Она думает, что у нее немеет и болит рука от скверного кровообращения, а скверное кровообращение — от слишком узких сосудов, тем более, что кончики пальцев у нее и раньше часто немели. Кроме того, Д. С., последний год, так тяжело во время прогулок опирался на ее руку, что неудивительно, что рука устала. «Я его буквально на себе носила, — рассказывает она доктору. — Но я не жалею».

Проходит несколько дней. З. Н. пробует продолжать работу — переписывает на машинке свою бесконечную поэму. Но боли в ноге и в руке усиливаются, она падает духом, бросает все, даже чтение, и целые дни проводит, лежа на кушетке, в полной неподвижности.

Ее усиленно лечат, хорошо кормят. Вообще она не испытывает недостатка ни в чем. И мало-по-малу она оживает. Через два месяца она не только уже может выходить, но и писать, и если воздерживается, то исключительно потому, что ждет, когда совсем «окрепнет рука». Летом ее состояние улучшается настолько, что в августе, после освобождения Парижа союзными войсками, она, пешком, отправляется за папиросами под Эйфелеву башню, на американский «черный рынок» и, пробродив в толпе около часу, пешком возвращается назад.

Осень и зима 44 - 45 гг. проходят без перемен, с небольшими колебаниями — ей то немного хуже, то немного лучше. Одно время ее

мучают головные боли с левой стороны. Но это проходит. Она понемножку начинает писать — короткие письма — не хочет утомлять руку, бережет ее для книги о Д. С. Письма писать она — великая мастерица и своим эпистолярным искусством славится. Почерк ее почти не изменился, разве что немного неувереннее и мельче, но это, может быть, потому, что отвыкла рука.

Никаких других перемен в ней не заметно. Она попрежнему верна себе, позиций своих не сдает, держится на них крепко. Перед Богом и Терезой не смиряется. Если болезнь иногда слишком резко подчеркивает какую-нибудь ее дурную сторону, она это умело смягчает, и равновесие восстанавливается. Дурных же сторон у нее порядочно, и свою «изнанку» она отлично видит. Недаром она так часто называет себя «ничтожеством», «дрянью», «пустельгой» и хочет исправиться. В ней не только «потерявшаяся девочка», может быть, сама Тереза, умирающая от холода в полной богооставленности, смотреть на которую почти нельзя без слез, но и ведьма, известная лишь немногим, сохранившим ей верность, друзьям. Но им — она известна хорошо. Кстати, верность она ценит больше всего на свете, и сама — верна.

Пусть это мне и не в заслугу,
Но я Любви не предавал,
Ни Ей, — ни женщине, ни другу
Я никогда не изменял!

И это ей непременно зачтется.

Д. С., при всей своей резкости и удивительной иногда неразумности, был мудр и кроток. З. Н. — природно умна, но мудрости в ней — ни капли. А что до кротости, то какая кротость у ведьмы! Один почтенный иерарх, член петербургских религиозно-философских собраний, идея которых принадлежит З. Н., называл ее не иначе, как «белая дьяволица». Ничего, даже приблизительно дьявольского, в ней, конечно, нет, однако, какая-то сверхъестественная сила, похожая на ту, что владела тургеневской Кларой Милич, владеет порой и ею. С этой, почти святой, полуведьмой - полувампиром у З. Н., как ни странно и ни страшно, — что-то неуловимо-общее. Во всяком случае, и З. Н. подобно Кларе, из жизни уводит:

Прости мне за тех, кого я
отнял у жизни сей,
отнял у сна и покоя,
у жен и у матерей.

Разница лишь в том, что Клара уводит «для себя», а З. Н. — «не для себя». Так, по крайней мере, Юна утверждает. Но как — не на словах, а на деле — разделить в любви Божье и человеческое, святое и

грешное, высшие интересы и личную выгоду? И до конца ли — ибо все в этом — разделяет в своей душе З. Н. Терезу и Клару, «замерзающую девочку» и влюбленную ведьму? При всей своей чистоте и святости, Тереза была на волоске ют гибели; Клара, несмотря на свою губительную страсть — на волоске от спасенья. Они взаимно друг друга уничтожают, но гибель и спасенье у них — одно. Невозможность разделить их в жизни до конца, и от этого — двойственность, смешанность самой жизни — постоянная мука З. Н. «Моя жизнь (не жизнь ли мира?) «только чаша в руке Господа, и вино кипит в ней, полное смешения». Этим все сказано».

Но дни бегут. Ничего не происходит, т. е. ничего положительного. З. Н., полулежа на своей кушетке, которая стоит теперь у обеденного стола в столовой — единственной теплой комнате в квартире, — перечитывает от скуки «Современные Записки». Но есть у нее и новое развлечение: это — кошка. Не какая-нибудь сямская, а самая обыкновенная, серая с разводами, кошка-Машка. В. Мамченко, друг № 1, привез ей как-то из Медона перепуганного крошечного котенка. Он вырос, и, хотя З. Н. кошек не любит, к этой привязалась. Кошка не сходит у нее с колен. Она — теплая, мягкая, живая. Если она упрямится и не идет, З. Н. ее заманивает:

«Ты — кошка. Ты — хорящая кошка. Поди, поди».

Кошка сначала долго не соглашается, желая показать свою независимость. Наконец, приходит, но как бы совершенно случайно.

В середине марта З. Н. совершает большую неосторожность, ускоряющую ход ее болезни. Она идет к парикмахеру «мыть голову». Но это — предлог. Тайная цель — электрическая завивка. О своей внешности она, ни при каких обстоятельствах, не перестает заботиться. В одной из своих старых пародий, где она не щадит и себя, она, устами «Проходимки», произносит фразу, ставшую, в кругу Мережковских, классической: «Когда однажды погибала Помпея, я завивала «запильотки». Но если она действительно их завивает и в день смерти матери, и в день смерти Д. С. и, кажется, способна была бы завивать их в гробу, — то лишь в силу спасительной привычки, помогающей ей, в такие минуты, как эти, держаться и не падать духом, на что одной только воли у нее не хватило бы. Уже ничего не соображая, она, каждый вечер, перед сном, обтирает себе лицо *lait de beauté* и пытается причесаться без посторонней помощи. И о себе, мертвой, она думает, как о живой: «Когда я умру, — говорит она за несколько недель до смерти, — пожалуйста, немножко меня подмажьте». Но ее удивительная сила жизни — единственная, какую она, по собственному признанию, обладает, не только в духе, но и в теле. Несмотря на свою хрупкость, изнеженность — «тепличность», она физически крепка. Куда крепче и выносливее Д. С. Давление у нее, как у семнадцатилетней, сердце и легкия — в порядке. Другая, на ее месте, не прожила бы и года!

От парикмахера она возвращается в наилучшем настроении. Но ре-

зультат завивки не заставляет себя долго ждать. Сухой жар электрического тока подействовал на мозговые сосуды, и через два дня в ее состоянии наступает значительное ухудшение. Толстый том «Современных Записок», который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук. Что это? Отчего? Как трудно поднять руку. И нога волочится. Она недоумевает. Ведь все уже было хорошо. В чем же дело? Вызванный на следующее утро доктор Андрэ находит затронутыми центры координации движений. З. Н. успокаивают, как ребенка: ничего, это скоро пройдет. Но доктор встревожен: болезнь принимает опасный оборот.

Однако, ей опять становится лучше. Но она уже не та — болезнь ее съедает. Писать с такой рукой, и думать нечего. Двигаться она может лишь по квартире, да и то с трудом. Прогулка к парикмахеру была последней. Усиливаются близорукость и глухота. Читать она, впрочем, продолжает без очков, не носит их — до сих пор — из кокетства. Изредка ее навещают друзья. Она встречает любезно, но разговор ее не занимает, вид — отсутствующий, и на вопросы она отвечает невпопад. Ее больше никто и ничто не интересует. Целые дни она проводит на своем диване в гостиной, с книгой и неразлучной кошкой, не покидающей ее ни на минуту.

Так медленно склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.

В первых числах августа ей снова хуже. «Совсем не плох и спуск с горы». Нет, нет, очень плох! Но она не понимает, не сознает, что это — спуск, конец. И чем ей хуже, тем с большим недоумением она спрашивает: «Что это? Отчего?». Только раз у нее мимолетное сомнение: «Может быть, это — конец?». Но нет, — невероятно! За три месяца до смерти, 7-го июня, она умудряется нацарапать в своем дневнике, левой рукой, несколько строк — последних: «Я больна и не выздоровлю. Но я еще не умираю и, может быть, долго не умру». Но пусть она своей смерти не видит, не понимает — «умру и очей ее не увижу», — душа к ней втайне готовится, зная, как страшно впасть «в руки Бога Живого». И З. Н., этот гордый человек, смиряется. В марте 45-го года она записывает: «Внешне все худо (для меня). Все. Но, может быть, по Божьему, оно и не худо — как знать? Мне больно, больно, со всех сторон, но ведь я, может быть, того и стою». Свою последнюю запись, от 7-го июня, она кончает словами: «Я стою мало». И приписывает: «Как Бог мудр и справедлив».

В двадцатых числах августа она начинает испытывать затруднение в речи: «Что со мной? — спрашивает она, не переставая удивляться. — Я говорить хочу — и не могу, я думать хочу — и не могу». Ей кажется, что ее неправильно лечат, и что всему причиной доктор, заменяющий отсутствующего Андрэ. Однажды утром она просыпается и хочет что-то сказать, но произносит одни бессвязные слова. Вечером того же

дня она на несколько минут теряет сознание и почти перестает дышать. Когда она приходит в себя, к ней неожиданно возвращается способность речи: «Последняя моя мысль перед тем, как потерять сознание, — рассказывает она, — была: «Слава Богу — конец. А первая, когда я пришла в себя: какая скука! Опять начинай сначала». Но это лишь краткая передышка, после которой начнется стремительный спуск.

С пятницы, 31-го августа, она не только окончательно теряет связность речи, но и почти не может глотать. Однако, за завтраком — ее все же сажают к столу — она с аппетитом выпивает чашку бульона, кое-как проглатывает пол котлеты, картофельное пюре, яблочный мус и кофе. Она выкуривает папиросу и не забывает положить обратно мундштук в стоящую перед ее прибором круглую коробку. Затем, отдых. Но к вечеру она, увь! ни слова сказать, ни куска проглотить — уже не может. Доктор Андрэ приезжает чуть ли не прямо с вокзала. «*Raute madame*», — говорит он. Но она его не слышит, не узнает. Он приписывает вливание физиологического раствора — два раза в день и камфару.

В субботу вечером, 1-го сентября, о. Василий Зеньковский ее причащает. Она сидит, грустная, за столом в столовой, ничего не понимает, но причастье проглатывает. В воскресенье ее переводят из гостиной в ее комнату. Верная кошка следует за ней.

В этой комнате, небольшой, но светлой, с окном на просторный двор католической школы *St. Jean de Passy*, ей хорошо. В окно видно небо и верхушки еще не тронутых осенью деревьев. Кругом — тишина, пустота. Все лишнее убрано. Оставлены только кровать, диван, комод с необходимыми вещами, стол и соломенное кресло. Она лежит лицом к окну, под образом Божьей Матери. Когда, днем, в комнате солнце, ставни прикрывают. От солнца тепло. Чувствует ли она эту теплоту, эту последнюю ласку?

Сверкнет ли мне в последний раз
Ее корона тонкая, сквозная,
Зеленая осенность глаз?

Она лежит неподвижно, высоко на подушках. Иногда стонет, но тихо. Своей здоровой рукой она, как маленькие дети, цепляется за что попало, за одеяло, за полотенце, за ложку, когда ей вливают виноградный с лимоном сок, чтобы в горле не было так мучительно сухо. Она больше ничего не умеет — разучилась — ни слышать, ни видеть, ни говорить, ни думать. Она, как маленькая больная девочка — Тереза ли, Клара ли — не все ли равно? Доктор успокаивает, что она не страдает. Однако, она с каждым часом страшнее.

Время в этой комнате будто остановилось. Каждая минута — вечность. Но оно и летит со страшной, с головокружительной быстротой. Та же стремительная неподвижность, напряженность и в почти уже не

живом теле больной. Нет, не прав доктор — она страдает. Но только не в ней страдание, а она — в нем. Оно ее покрывает, пронизывает насквозь, уносит ее неподвижно-стремительно в неизвестное, как, среди вечных льдов, огненный поток, в котором очищается, оживает ее душа.

Дойти бы только до порога!
Века, века... и нет уж сил.
Вдруг кто-то властно, но не строго
Мой страшный путь остановил.

Тихое, ласковое утро. Потом такой же тихий, бледно-солнечный день. З. Н. сидит в кровати, ей трудно дышать. Вдруг в ее потухших, невидящих глазах что-то загорается, какой-то свет. Она смотрит, словно каким-то чудом, опять стала собой. Но ни слова сказать, ни сделать движенья — не может и говорит взглядом. В нем — бесконечная нежность, бесконечная благодарность. Две слезы стекают по ее щекам. Вот когда, наконец, оттаяло ее сердце. Еще один взгляд, и она закрывает глаза и умирает.

Ее лицо становится прекрасным. На нем — выражение глубочайшего счастья.

И ты придешь ко мне в свой час единственный,
Покроешь темными крылами Счастья.

Этот час — 3 часа 33 минуты пополудни. День: воскресенье, 9-го сентября 1945-го года.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БОГЕМА

(М. А. Кузмин)

О, богемными преданиями воспетая «Бродячая Собака», как обольстителен, как полон неоспоримой, убогой прелести был твой чадный подвальный уют, твоя, в свиную кожу переплетенная и входы охранявшая, книга, твои от чуть-чуть перепитого вина всегда покривившимися казавшиеся своды. И сколько сейчас забытых, написанную историю творящих слов было в тебе произнесено в те быстро сгоравшие ночи, когда по твоим склизким и снегом занесенным ступенькам спускались наряду с лоснящимися бархатными тужурками и косоворотками чрезмерно громко смеявшиеся дамы в декольте и своими моноклями игравшие безукоризненно скроенные фраки.

Крошечная, из теса наскоро сколоченная эстрада твоя посвящена была музам. На ней читали свои еще не напечатанные стихи Блок, Гумилев, Мандельштам. На ней Карсавина танцевала под музыку Куперэна и Люлли: « L'Enlèvement pour Cythère ». Часто на ней футурист Маринетти посылал проклятия соловьиным трелям и лунному сиянию, и на ней-же будущий Лже-Димитрий в «Старинном Театре», Дризена-Казароза распевала лукавые песенки Тэффи.

Но не успел еще в этот вечер улечься гам и грохот от пыль на эстраде вздымавших и высоко подпрыгивавших стульев, на которых Петя Потемкин и Бабиш Романов восторженно и самозабвенно мимировали «скачки верблюдов в Гелуане», как еще не успевший опьянеть Пронин Борис, «хозяин Собаки», мгновенно водворил в зале тишину, смешав с дымом, говором и смехом столь всех здесь ласкавшее имя Михаила Алексеевича Кузмина.

На эстраду маленькими, быстрыми шажками взбирается удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают Помпеянские фрески. Черные, словно лаком покрытые, жидкие волосы зачесаны на боках вперед, к вискам, а узкая, будто тушью нарисованная, борода вызываете подчер-

кивает неестественно румяные щеки. Крупные, выпуклые, желающие быть наивными, но многое, многое перевидавшие глаза, осиянны длинными, пушистыми, словно женскими ресницами. Он улыбается, раскланивается и, словно восковой, Коппелиусом оживленный автомат, садится за рояль.

Какие у него длинные, бледные, острые пальцы.

Приторно сладкая, порочная и дыхание спирающая истома нисходит на слушателей.

В шутке слышится тоска, в смехе — слезы.

...«Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь,
Ранней весною срывают фиалки, помни, что летом фиалок уж
нет»...

Банальные модуляции сливаются с тремолирующим, бархатным голосом, и неизвестно, как и почему, но бесхитростно ребячливые слова получают какое-то, им одним присущее, таинственное значение.

Конечно, это не дитя, которое тянется за розой, а кокетливая, низко декольтированная пастушка, взобравшаяся на забор и обнажившая свою стройную ножку в белом чулке.

Кузмин поет дальше:

«Если завтра будет солнце, мы на Фьезоле поедем,
Если завтра будет дождик, то останемся мы дома».

Ничего в песенке не говорится о кампании Джиотто, о Палаццо Веккио, о Давиде, а, между тем, в магическом созвучии одного этого имени — Фьезоле, сразу же вспыхивает вся Флоренция. И вот почему если завтра дождика не будет, то мы в Петербурге легко забудем убогость накуренного, чадного и шумного подвала и помечтаем, что дом наш с Кронверского проспекта перекочет к берегам Арно, рядом с Санта-Мария дель Карминэ.

Долго не отпускали Кузмина с эстрады, и, чем дальше он пел, тем реже звучал в зале смех.

Почему-то мне лично вспомнилась Ивэтт Гильбер. Эпоха тогда требовала рыжих, всклокоченных волос, зеленого декольтированного платья и черных перчаток, напоминавших о том, что не было денег для отдавания в чистку перчаток белых. Но за внешним различием модных картинок, художественная цель у той, которая позировала Тулуз-Лотреку, была та же, что и на эстраде сейчас поющего поэта, увековеченного Сомовым, в ловко сшитом пиджаке при ярко зеленом галстуке.

И финал любимой песенки французской дивы: « Sur son tombeau un poète symboliste écrira : Ici gît un jeune homme triste », звучал почти так же, как Кузминское: «Помни, что летом фиалок уж нет».

Кончив петь, Кузмин подошел к моему столу. Этим вниманием я был очень тронут. Ведь чем-то для меня отличным он был даже от самых ярких представителей, тайн от меня не имевшей, богемы. Все время мне чудилось, что на нем надета маска, что он наложил на себя какой-то добровольный тяжелый искус, что где-то далеко за пределами смеха, чувственного вожделения и нарумяненной галантности эпохи Рокко, которую он так любил в Моцарте, в его душе реют мотивы трагического вдохновения.

И представляется мне сейчас, когда того же Кузмина уже нет больше на свете, что если те же энтузиаст Пронин, лукавые песенки распеваящая Казароза, петербургская Форнарина — Олечка Судейкина, Бабиш Романов и вечно пьяный Цибульский хлопали его по плечу, подливали ему вина в бокал и называли его Мишенькой, то все они, конечно, не подозревали, что так сладко им улыбающийся приятель их, по формации своего дарования, по диапазону заложенной в нем творческой воли, не менее таинственен и не менее решающ для русской романтики, чем Гофман был для Германии или Жерар де Нерваль для Франции.

Но, вероятно, что в этот вечер всего этого я еще не чувствовал и не сознавал. Все же, какой-то интуитивный пистет я чувствовал при каждом приближении ко мне того же «Мишеньки», и не легко мне было находить простые, приветственные слова, которыми бы я мог его приласкать.

Спас ситуацию Романов: «А, вот вы где, Мишенька, вы мне очень нужны. Прости, Толя, что нарушаю вашу беседу».

Без дальних слов он присел к нашему столу.

Дело шло о постановке пантомимы-гротеска: «Выбор невесты». Кукольная, фарфоровая девица вышивает на пальцах; страстная, смуглая, экзотичная султанша вихляет бедрами. Ритм итальянской «комедии дель Арте» уснащает фон. Кузминская музыка, хотя и лубочна и олеографична, необычайно выразительна в своих сентиментальных модуляциях. Романов удачно раскрыл наивную схему кузминского сценария и насытил подлинным юмором пластический финал, когда над обеими красавицами торжествует в женское платье переодетый юноша.

Скоро «Выбор Невесты» стал столь же популярен на петербургских эстрадах, как стихи Игоря Северянина или песенки Изы Кремер.

Слушая изложение пантомимы, я внес в нее несколько, смягчающую ее нарочитую эксцентричность, поправок. Кузмин как-то очень зорко и настороженно к ним прислушался. И вдруг, неожиданный переход: «У вас, наверно, среди ваших книг имеется «Les Diaboliques» Барбэ-д-Оревилльи. Мне они очень нужны». — «Есть, ответил я, улыбаясь, и даже в очень редком издании. Я с удовольствием ваших одолжу». — «Когда можно за ними зайти?». — «Да, хоть завтра». И на это простое и дружеское мое предложение, вдруг чопорная и офи-

циальная реплика: «Благоволите мне дать ваш адрес, я навещу вас завтра в 8 часов вечера».

С необычайной аккуратностью он явился ко мне на следующий день в обусловленный час. Его сопровождал несколько нескладный молодой человек. — «Позвольте представить вам даровитого молодого литератора — Юркун. Он — большой библиофил, и я не захотел отказать ему в удовольствии порыться в вашей библиотеке». — Я радушно приветствовал этого нежданного гостя и провел их обоих в мое книгохранилище.

Оно стоит быть описанным: это был высокий, круглый зал, венчаемый белым куполом, который подпирался белыми же колоннами. Стены его были выкрашены в ярко-красный цвет, а пересекающие их наверху черные фризы итальянец Гранди гуашью украсил подобием Помпейских фресок. Четыре закругленных шкафа, покрытые фанерой карельской березы, были вкраплены в карминовые стены. С купола свешивалась екатерининская люстра, а посередине комнаты стоял раскидистый восьмиугольный стол из карельской березы, резко вырезывавшийся на фоне черного, пестрыми попугаями испещренного, старинного русского ковра. Екатерининские, янтарной патины кресла были покрыты блеклыми, голубыми сарафанами. Кузмин, войдя в эту комнату, даже зажмурился. «Как все это чудесно здесь!», — воскликнул он и тут же усмехнулся: — «Ведь работать здесь нельзя. Ведь чем пышнее и драгоценнее наряд на юной девушке, тем, конечно, более меркнет ее подлинная, волнующая нас, девичья красота. Но все же мне лично здесь было бы чудесно. Я в душе себя чувствую Золушкой и не дождусь дня, когда в золотой карете меня повезут во дворец. Ибо Золушка для меня только тогда становится сказкой, когда на ней сияет парчевое платье.

— И как хорошо вы придумали смешать русское с заморским. Не должно ведь существовать никаких расстояний ни во времени, ни в пространстве, когда отрещаешься от жизни. И тогда, конечно, Венеция и Петербург не дальше друг от друга, чем Павловск от Царского Села».

Пока мы говорили, Юркун уж подошел к одному из шкафов и погрузился в рассматривание каких-то его заинтересовавших книг.

На среднем столе я уже приготовил для Кузмина мрачные новеллы Барбэ-д-Оревиллья. Он с волнением стал их перелистывать. — «Не нравятся мне эти претенциозные иллюстрации. Как люди не понимают, что чувство страха рождается не извне, а изнутри. Нарисуют череп, бледное, ужасом перекошенное лицо на него взирающего человека, назад откиннутый корпус агонизирующей девушки, в грудь которой по пулю вонзили кинжал, мрачный склеп с заставшей оконные стекла паутиной и думают, что страшнее нет ничего, что в тлении и в боли торжество ужаса. А вот, я лично полагаю, что одиночество, тишина и молчание страшнее воплей и стучащих выстрелов. Я страшусь обломанной стрелки на часах, опрокинутого стакана, из которого на скатерть льется красное вино, передавленной собаки, подползающей к ногам

своего хозяина. Страшен для провожающих отходящий поезд, каллиграфическим почерком написанное письмо, в котором недавно, заветное «ты» заменено бесповоротным «вы», страшен обращенный на вашу грудь стеклянный, все видящий, Рентгеном изобретенный глаз. Страшно внезапное сознание собственной бездарности, которое, конечно, не в силах развеять никакие лавры, никакие пышные гонорары».

В соседней гостиной у меня была зажжена столовая лампа. «Можно туда?», — спросил меня Кузмин, — «я вижу у вас там рояль». Мы подошли к нему. — «Сыграйте что-нибудь, Михаил Алексеевич». — «К вашей обстановке моя музыка не подходит. Она у меня вся на диссонансах и на гривуазных мотивах построена». И тут же, сейчас: «А есть у вас что либо из стариков, из классиков?». — «Есть Моцартовские симфонии в четыре руки». — «А вы играете?». — «Я — виолончелист, но так, с листа, немножко читаю». — «Сыграем Юпитерскую!»». — Очередь была за мной усмехнуться: «А не будет вам страшно, здесь ведь все проистечет не извне, а изнутри?». Но он уже сидел у рояля, строго, ученически, прямо и метрономно скандировал ритм первой части. Затем, не взглянув на меня, ударил по клавишам. Боже мой, как же совместить этот его бесспорный, крепкий, отклонений от классических канонов не терпящий, музыкальный вкус с его песенками, стилизующими не то тривиальные неаполитанские канцонетты, не то венгерские чардаши? Четко, ритмично, не заглушая эмоциональных нюансов и искусно педалируя, как бы стремясь скрыть подчас недостаток своей техники, он раскрывал Моцартовскую кантилену с такой, в себе уверенной искренностью, что мне оставалось только слепо подражать ему, когда доминировавшая фраза переходила из дисканта в бас. Мы добрались до менуэта и легко, бравадно и ритмично, без заминок сыграли его. «Повторим его!», — воскликнул он, — «только так, как его в танец должен воплотить балетмейстер, хотя бы тот же Бабиш. В начале я вижу формальный, галантный дуэт. На каждый ярко подчеркнутый мужской вопрос слышится жеманный и робкий, но, конечно, влюбленный, женский ответ. Так они ритмично дразнят друг друга, пока в трио не забываются, не меняют чопорного, придворного этикета на любовную идиллию, всю сотканную из сплетающихся и друг ют друга ускользающих тел, которые, наконец, замирают в финальном фермато, в забывшем парчу, мушки и пудренные парики, объятии. А затем, как если бы чей-нибудь нескромный взгляд их спугнул, снова вспоминаются плиз и глиссады, и снова завибрируют реверансы, которые будут чередоваться с овално к небу воздетыми ручками, как бы творящими ажурную рамку для что-то познавших, чем-то утешенных и что-то долго, долго помнить пожелавших фарфоровых куколок. Попробуем его так сыграть! Не слишком скоро, раз, два три!».

«Ну какой же вы молодец, Михаил Алексеевич, всю вашу романтическую концепцию вы лучше звуками выразили, чем словами».

От финала, испещренного жирными и широкими черными полосками, я отказался:

«Пойдемте закусить», — предложил я ему, и оторвал Юркуна от книг. Нужно было занять и его. — «Над чем вы работаете?», — спросил я. Но вопрошаемый более заинтересовался моей кулебякой, чем моим вопросом, и отвечал мне как-то лениво и сбивчиво. Зато Кузмин оценил мою любезность и пояснил мне, что приятель его не любит о себе говорить, что он в себя еще не верит, но что его последний роман «Лайковые перчатки» уже является несомненным достижением. — «Я вам завтра же его пришлю».

Мой ужин был обилен, и я не ленился подливать вина в бокалы. Нортоновские часы мои играли курантами, Рокотовская Екатерина как бы являлась дополнением к только что отзвучавшей моцартовской симфонии, а петровская люстра убаюкивающе звенела своими хрусталиками.

Повторно, но не слишком часто, я впоследствии встречался с Кузминым, но странно, словно по какому-то взаимному молчаливому соглашению, мы в беседах наших никогда больше не переступали через грань той бытовой и случайными, посторонними людьми чувствуемой и постигаемой жизни, которая так случайно нас друг с другом свела. Я грустил, что намечавшаяся, было, уже между нами интимность так внезапно прервалась, и что не было у меня никакого повода для ее воскрешения.

Но вот раз, поздно вечером, без предупреждения, он ко мне явился один, без Юркуна. — «Простите мое внезапное к вам вторжение, но я срочно нуждаюсь именно в вашем совете. Я получил от крупного издательства большой, ответственный заказ. Давно я ношусь с мыслью о русском «Плутархе», о жизнеописании великих, историей мало освещенных людей. Я всегда очень интересовался Калиостро и, кроме того, я чувствую в нем нам, русским, какую-то очень понятную и роковую душевную раздвоенность. Короче говоря, я решил первый том моего «Плутарха» посвятить жизнеописанию Джузеппе Бальзамо. Вы как-то упомянули мне, что дружны с автором «Четвертого Измерения», с Успенским. Это — его область. Не согласитесь ли вы его пригласить как-нибудь к себе вместе со мной?». — «С удовольствием, Михаил Алексеевич, все это я вам устрою без проволоочки, через несколько дней».

Встреча эта состоялась, но они не подошли друг к другу.

Кузмину не важны были оккультные знания, в которые посвящен был Калиостро, а прельщали и вдохновляли его романтический энтузиазм, пафос его фантастических инициатив, торжествующая удача его раскаленной воли, легендарный ореол, который его обессмертил, и трагический его конец. Успенский же, мало увлекавшийся мотивами эстетическими, видел в этом мифомане лишь корыстолюбивого и декоративного шарлатана. Но все же беседа их была ярка, и Кузмин с лета ловил

все, к оккультным доктринам отношение имевшие, пояснения Успенского.

Очень скоро эта большая романтическая и несомненно автором остро продуманная и прочувствованная книга появилась в печати. Впервые в ней Кузмин приоткрыл подлинное лицо свое, и было оно волнующим, строгим и даже многострадальным.

С необычайной экспрессией написан конец ее.

Подлинную, высшую мудрость постигший человек тщетно устремлен противопоставить неотвратимой гибели своей, жизненным опытом обретенную власть. Всегда, в самые трагические этапы его жизни, она его спасала. Сейчас нужно только вспомнить о том греховно-отвергнутом и презренным, что вне быта, вне велений рассудка, необходимо воскресить, приласкать и соединить его с раскаленной мыслью о всевластности мистических сил. Увы, что-то кругом него, в атмосфере шелестит. Какие-то тени мерцают, какие-то намеки рождаются мгновенно вспыхивающей надеждой, но спасительный результат не достигается, ибо волхв, маг, чудодеев повержен. Отрекшись от истины — Калиостро гибнет, как презренная, с высшей мудростью никогда не соприкасавшаяся, тварь.

Успех этой книги был большой, но что-то в ней для большинства почитателей Кузмина было и чуждо, и даже враждебно. Очень уже отличен был этот Калиостро от его «Плавающих Путешествующих» и «Глиняных Голубков». Но мне лично эта кузминская книга ответила на многие из тех вопросов, которые никогда я раньше не решался поставить ее автору.

Русский «Плутарх» должен был продолжаться. Второй том его, однако, никогда не увидел света. Наметил ли уже Михаил Алексеевич имя, которым бы он его окрестил, никто никогда не узнает.

Настали дни революции. «Бродячая Собака» захирела, заглохла, слилась с сумерками и потонула в тревогах реальной жизни.

На смену ей, рождался пышный, бравурный, светом залитый «Привал Комедиантов».

Кузмина он не привлек, ни разу я там его не встретил.

Но вот, однажды, я с ним столкнулся на улице и был поражен его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно блестящие глаза его были мутны, щеки — землисты, кутался он в потертое пальто.

«Что с вами, где вы, отчего вас нигде не видно, почему никогда не зайдете ко мне?». И голосом, уже не звонким и не трассирующим, он пробормотал что-то сбивчивое и тусклое: «Долго рассказывать, да не стоит. Помните песенку мою: «Если завтра будет дождик, то останемся мы дома»? Вот дождик и полил, как в библейском потопе, дождик бесконечный, без перерыва. Ковчег у меня не оказалось. Сижу я дома». Он протянул мне руку на прощанье. «Михаил Алексеевич, я вас так не отпущу. Домой вы поспеете, никто вас там не ждет. А я так рад вас видеть, я так долго ждал этой встречи. Поедемте ко мне. Вспомним

прошлое, закусим, чокнемся!». Услышав последние мои слова, он нервно мотнул головой. О, не могло быть сомнений, он голоден!

И мы поднялись ко мне, и я велел в неурочный час накрыть на стол и старательно не замечал, как жадно, как стыдясь меня, он ел, как постепенно оживал и приободрялся.

«Подождите, Михаил Алексеевич, не пейте этого красного вина, я велю подать мадеры, вам необходимо подкрепиться».

Он долго сидел, но мало говорил. Насытившись, он пожелал пройти в библиотеку, в кабинет, в гостиную, к роялю. — «Теперь не до менюэтов», — промолвил он, — «да и Моцарт сейчас как-то далек от меня. Все меняется. Помните, как я вам говорил: «Подлинный страх не извне, а изнутри»? Ошибался я, жестоко ошибался, конечно, извне, как извне обыски, аресты, болезни, смерть».

Я понял, что нужно переменить тему нашего разговора. — «Что вы делаете?», — спросил я его, — «что пишете, где сотрудничаете, где печтаетесь?». Он безнадежно махнул рукой.

«Слушайте, Михаил Алексеевич: я обеспечен, я скоро покидаю Петербург, я, быть может, долго, долго вас не увижу, а потому я имею моральное право обратиться к вам мою последнюю дружескую просьбу, а вы не имеете права мне в ней отказать. Возьмите на память обо мне эти деньги». И, ничуть не стесняясь своего жеста, я вынул из бумажника пачку керенок.

Руки его дрожали, когда он их брал. Как счастлива для него была эта сегодняшняя встреча наша! Мы поцеловались. — «Прощайте». — «Вы хотите сказать: «до-свиданья»?». — «Нет, я сказал: «прощайте». Но вы еще услышите обо мне». Это были последние его перед уходом слова.

И я в действительности услышал о нем, но уже после того, как узнал о его кончине.

Не помню где, в Берлине или в Париже, мне передали конверт, на котором значилось имя мое.

А в конверте, на машинке, по новой орфографии, было переписано стихотворение:

Декабрь морозит в небе розовом,
Нетопленный темнеет дом,
И мы, как Меньшиков в Березове,
Читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли
Какой спасительной руки?
Уж вспухнувшие пальцы треснули,
И развалились башмаки.

Никто не говорит о Врангеле,
Тупые протекают дни,
На златокованном Архангеле
Блистают сладостно огни.

Пошли нам крепкое терпение
И твердый дух и легкий сон,
И милых книг святое чтение,
И неизменный небосклон.

Но, если в небе Ангел склонится
И скажет — это навсегда,
Пускай померкнет беззаконица —
Меня водившая звезда.

Но только в ссылке, в ссылке мы,
О, бедная моя любовь
Струями нежными и пыльными
Родная согревает кровь.

Окрашивает щеки розово —
Не холоден минутный дом
И мы, как Меньшиков в Березове
Читаем Библию и ждем.

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

СЕРОЕ И КОРИЧНЕВОЕ

Лирическая поэзия, стихи, “лучшие слова в лучшем порядке”, “Бог в святых мечтах земли” — все то, для чего мы тщетно стараемся подыскать отточенные формулы, которые никогда не смогут выразить ее магической сути, ибо по самой природе своей ускользает она от определений, неизменно говоря об ином и на “ином языке” (как бы не был порой богат прозаизмами поэтический словарь современного поэта и какими внешне злободневными не казались бы затронутые им темы) — в нашем сомнительном мире, среди всех катастроф физических и моральных, уже пронесшихся и еще грядущих, с какой-то точки зрения представляется пережитком и анахронизмом.

Опадают без перерыва календарные листки и за их неумолимым отрывом, приближается, вероятно, день, когда поэт не сможет найти слушателей, ибо между строем жизни, между ожесточающимся и всепроникающим бытом и той неотмирной страной, где от рождения привыкла жить поэзия, вырастает крутая стена, перешагнуть которую становится с каждым часом все труднее и труднее.

Древний миф о Орфее — не только далекая поэтическая аллегория. Он отражает в себе истинную вечную, всегда современную и вполне конкретную. То “архаическое” время, когда поэзия могла еще быть неким божественным

служением миновало. Мы входим в полосу гегемонии, если не тирании, точных — и в точности своей — холодных, наук. По всем признакам, всякое проявление духа должно будет отныне иметь утилитарный характер и будущему поэту суждено будет стать — в лучшем случае — стихотворцем.

Мечтания о том, чтобы какие-то затаенные строки

“.....музыкой глухой прошли
По странам и морям тоскующей
земли”.....

остаются голой мечтой, настроившегося на романтический лад поэта, мечтой несбыточной и глубоко трагической, именно в силу своей заведомой несбыточности. Последний лирический поэт, вероятно, рано или поздно закончит свое земное странствие столь же драматически, как и легендарный сын Аполлона, его далекий пращур. Круг замкнется. Скоро-ли? Сегодня, завтра, или только когда-нибудь?... По существу — не все ли это равно? Пусть нам остается одна эгоистическая надежда: авось не на нашем веку....

И пока этот шар продолжает вращаться вокруг своей “старой” и явно надтреснутой оси, пока мы находимся еще в каком-то «*po man's land*»^е, между двумя историческими водоразделами, поэты продолжают слагать свои песни и в этом явлении есть что-то необычайно отрадное и глубоко оптимистическое. Среди взрывов и крушений, среди всех назойливых забот усложнившегося существования, они, вновь и по новому

ставшие “ничтожными детьми мира” — отдаются чистой, невесомой лирике. В то время, как типографские станки днем и ночью заняты легковесными пёбрыкунками дня, они все еще втихомолку продолжают петь о вечном.

Плиний Старший оставил нам описание исторического извержения Везувия. Но в этом красочном “репортаже” о гибели Помпеи и Геркуланума, инцидента с нашей точки зрения столь малопримечательного, что случись он в наши дни, он едва-ли заслужил бы жирного прифта в газетных заголовках, Плиний забыл рассказать нам о местных поэтах. Можно с уверенностью предполагать, что и они там — в зареве пожаров — до последней минуты, до того, как потоки лавы не застигали их, скандировали свои медные строки. Очень сильна поэтическая отравка. Сильна настолько, что даже стихии бессильны совладать с ней.

Едва бытовые условия начинают входить — хотя-бы только внешне — в какие-то “нормальные” рамки, свежее отпечатанные тетрадки стихов тутчас появляются в витринах книготорговцев.

Французская молодая поэзия, бывшая в эпоху “между двумя войнами” в полном упадке, познала неожиданный расцвет в наиболее черные годы истории Франции. Это поэтическое возрождение, если и не дало пока ни одного “вечною памятника”, то в количественном отношении стихотворную продукцию указанного периода нельзя не признать симптоматичной. Сборники стихов издавались и открыто, и конспиративно. Стихи печата-

ли роскошными изданиями, печатали и кустарным способом, рискуя очень многим, несоразмерно, на обывательский взгляд, многим. А рядом с этим, оторванный от материка — островок поэзии “эмигрантской” (хотя пора было бы признать, что в этом словосочетании есть явное противоречие, ибо нельзя к поэзии приклеивать ни политических, ни географических ярлыков), несмотря на то, что написанное могло предназначаться лишь для ящичков письменных столов, да еще только у тех, у кого такие столы оставались — продолжал давать новую жатву.

Три книги — серая, серая с красным и коричневая — все три по какому-то значительные и показательные, вышли в свет почти одновременно. Авторы их каждой отдельной чертой едва-ли не полярны друг другу и на первый взгляд может показаться, что ничто, кроме даты и места издательства их не объединяет. Но в самих контрастах, за всем тем, что так резко отличается их один от другого, можно при более внимательном рассмотрении уловить и много общего: при несовпадающей тематике, вопреки весьма несхожей фактуре стиха — обладают они каким-то родственным тембром. У них разный язык, различны их конечные цели, но в основе у них, пожалуй, один и тот же контрапункт. И это *внутреннее*, т. е. как раз то, что их роднит — в какой-то мере характерно для всей группы здешних русских поэтов, для всего того поэтического производства, которое за последние

годы успело появиться в убогой нашей печати.

Представлены здесь разные поэтические выучки, противоположные поэтические темпераменты, но, несмотря на это в внутренней ткани стиха, в самой его музыке, в том жесте, который можно учуять между строк, в восприятиях жизни и мира — неизменно есть нечто такое, что сразу, с первого звука, отличает поэзию здешнюю не только от поэзии “советской”, но оставляя в стороне вопрос о степени талантности — даже и от других зарубежных поэтических группировок, до войны еще имевшихся в разных центрах русского рассеяния. Точно парижский воздух или “облака, возможные только на парижском небе”, подсознательно отсвечивают в творчестве, придавая ему свой особенный рельеф.

И это позволяет говорить о “парижской поэтической школе” с тем же правом, с каким этот условный термин уже давно вошел в обиход по отношению к работающим здесь русским живописцам. И, нет сомнения, что эта “школа”, собранная вполне случайно и отнюдь не по литературным признакам, оставит след в истории русской поэзии, ибо среди тех, кто составляют ее есть немало поэтов с подлинным поэтическим даром, с беззаветной любовью к стиху.

Случайное совпадение в дате выхода “Близнецов” Анны Присмановой, “Новых стихотворений” Георгия Раевского с “Звездами в аду” Виктора Мамченки, трех талантливых представителей парижского рус-

ского Парнасса, позволяет остановиться более детально на их творчестве.

“Близнецы” Анны Присмановой — книга поисков. Точно вслепую, в огромной связке ключей, Присманова пытается подобрать ключ к замку, местоположение которого в мире ей, вероятно, еще толком и не ведомо. Да она даже едва ли до конца сама догадалась, что именно хочет она открыть и чего, собственно, ищет.

В своих поисках она порой точно умышленно опутывает себя сама словесными тенетами, которые задерживают ее на этом героическом пути исканий и прельщаясь словесными находками или неожиданными и смелыми метафорами — она тут-же отклоняется от своей неясной цели, как ребенок, завороченный каким-нибудь пестрым камешком, готов остановиться на полдороге.

Весь упор ее книги в том, что она до конца так и не сможет высказать — в каком-то виолоне трогательном и трогаящем косялызичии. И ее шероховатость, срывы, доходящие порой до отсутствия вкуса, до того, что она перестает ощущать вес слова — настолько окутаны в оригинальность, в что-то по настоящему органическое, так пропитаны ее индивидуальностью, что и эти провалы становятся как бы неотъемлемой частью ее поэтического облика. Вот уж, подлинно, когда... “душа из тела рвется вон”. Можно-ли при такой напряженности заменять слова, пускай и неудачные, или править и отделявать строки, хотя бы и хромалоющие?

Присманова все время что-то обе-

щает, чего-то не досказывает, хочет раскрыть нам свой поэтический мир, свое "я" и тут-же сама все затемняет, уносясь куда-то в волнах, заливающей ее эмоциональности. Она придумывает графы и системы, с бухгалтерской аккуратностью делит свой сборник на какие-то разделы, где каждый, снабженный особым заголовком, должен что-то обозначать, так или иначе быть связанным с предыдущим, но вся эта "организованность" нисколько не помогает ей выбраться из того первозданного хаоса, в котором она продолжает до конца пребывать. Вероятно, в этом ее счастье: в геометрическом мире, на расчерченных дорогах — она потеряла бы свои краски и свою индивидуальность. Таков ее удел, и поэтический, и, должно быть, житейский.

Присманова ощущает только профиль бытия. Она вся в раздвоении. Между кровью и костью, говорит сна (т. е. между теми "близнецами", которые объясняют заглавие сборника):

... "Как два пути с единым назначением,
Живут во мне раздельно кровь и кость"...

Но этому противопоставлению крови и кости, даже в плане поэтическом, трудно поверить. Нет ли здесь терминологической ошибки? Не будет ли правильное предположить, что ее раздвоение от невозможности связать два начала — два мира: мир реальностей, мир видимый с ее поэтическим миром, миром добавочных, не-эвклидовых измерений, миром единственных

для нее ценностей, на грани которого писалась вся книга. Сама она, как на качелях, все время перескакивает из одной плоскости в другую, утерав способность различать, где между ними проходит межа.

Поэтическое вдохновение преображает и ее существо, и окружающие ее предметы, но эта музыка, превращая дом ее в храм — не в состоянии помочь ей. "Выйти из кольца ей не дано". Ее муза тиранична и ревнива, она

"...почти-что не даст ей жить"... и оттого поэт все время как-бы находится "проездом через собственную жизнь", зрячая и слепая наполовину, с ясным и холодным сознанием того, что ее подавляют высшие слова:

"От слез с лица сошла личина,
под ней остался только прах.
Несчастью этому причина
в моих-же собственных словах.

Они виновны в распылении
во мне всего, всего, всего.
Я обвиняю их в растлении
существованья моего..."
а отказаться от них, их отринуть
— она бессильна.

Эти "слова" да еще в придачу и книги, избыток книг, — убили в ней даже любовь к любви и вся ее лиричность замыкается в воспоминаниях. Оттого присмановская лирика не обжигает. Как "подземная река стремится к отраженью неба", так и она теперь только способна предчувствовать сердечное землетрясение — переживать его ей не под силу. —

“Словами о самой себе

Заполнила я эту книгу”, заключает она. Ее поэтический дневник, а может, правильнее было бы назвать его дневником “метафизическим”, над которым то тут, то там промелькнет тень Каролины Павловой или услышится отзвук Пастернака и Мар. Цветаевой, открывает нам гораздо более четко, чем “Тень и Тело”, первая ее книга, — ее поэтический силуэт, талантливый и ни с кем не схожий. И даже эти формальные влияния, которые будучи поглощены в умеренных дозах, могут оказаться отравой, никак и ничем не заслоняют от нас ее собственный, характерный облик.

“Писать надлежит так, как звон требует”, проповедывал Тредьяковский, один из отцов русского стихосложения, которого я не случайно сейчас вспоминаю. Этого правила постоянно придерживается Присманова и это ставит ее в ряды тех современных поэтов, которых можно любить или не любить, но с которыми нельзя не считаться.

«Amant alterna Camenae»: “Новые стихотворения” Георгия Раевского по своему тону — книга достижений. Он успел перейти через перевал сомнений. В его гармоническом мире все обосновано, все мудро, даже подчас черезчур мудро и слишком логично. Все здесь на своем месте и на житейскую повседневность, страшную и уродливую, взирает он с некоторой снисходительностью, из высот хоть и запредельных, но все-же весьма комфортабельных:

Вкус у него тонкий и достиг он высокого технического совершенства. Но он точно боится опуститься, боится малейшего промаха, боится быть обвиненным в ереси, откуда бы это обвинение ни исходило.

Читая книгу Раевского, можно убедиться какой помехой ему служит его гигантская память. Реминиценции подсознательно клокочут в нем и порой ясно чувствуется, насколько они сковывают его поэтический полет. Много сидел он над Боратынским и Тютчевым, над Блоком и Ходасевичем (“изгрызал их”, говорил в таких случаях Андрей Белый) и настолько глубоко впитал их в себя, что в его стихах кое-где можно даже уловить их “высокие” интонации. Его творчества это отнюдь не снижает, но только суживает резонанс его стиха. Впрочем, имена его “вечных спутников” настолько бесспорны, а сам Раевский в такой степени обладает тактом и чувством меры, что подобная созвучность не может задерживать органического развития поэта, по самой природе своей, произвольно опирающегося на лучкавый дар Мнемозины, матери всех муз.

Тоска по небу — главная тема Раевского. Он не только любит природу — он чувствует ее. Тона его акварельны. Мир его прозрачен. Его прельщают ветер, тень от дерева, облака, синеватый утренний дымок. Еще больше влекут его молчанье, покой, стоячая вода. Над неподвижным прудом ищет он:

...“Тайной музыки начало,
Выростней из тишины...”

Оснеженные сады, когда

...“За ночь выпавшее чудо

.....
Все смущает, приглушает,

Одевает в белый дым —

сразу наводит его на вопрос:

...о чем напоминает

Нам молчаньем своим?”.

И эту разгадку он все время пытается найти. Может-быть, она предельно проста и ключ к ней, как и ко всей книге в его-же строке:

“...В глубоком локос

Человек породнится с землей...”,

а мы тут точно наперекор смыслу продолжаем еще о чем-то шуметь. Мы в каком-то плане схожи с его символическим часовщиком, этим “мирным, молчаливым мастером”, который и “сам не знает что он продает”, ибо все суета сует, все поглотится временем.

Есть в этой книге, небольшой, но веской, полной пантеистических настроений немало строк большой лирической нежности и силы, наполненных радостью бытия, которые запоминаются. Сборник “Новых стихотворений” (какое скупое и целомудренное заглавие, если не считать его вызывающим!) говорит о многом, о важном, о самом важном. Говорит подчас не без убедительности и всегда талантливо. Чтобы стать бесспорной поэзии Раевского не хватает только немного... прозы.

Раскрывая “Звезды в аду”, новую книгу стихов Виктора Мамченки сразу точно переносишься на какую-то иную планету, населен-

ную невоплотившимися существами и перед тем, как окончательно потухнуть, освещенную последними зарницами. Но — что говорить — надо как-то перебороть себя, чтобы суметь с этим миром сжиться, чтобы осмыслить этот непривычный, распадающийся пейзаж, чтобы сквозь него разглядеть искаженный лик нашей скорбной земли. Однако, любопытно: с напряжением, с чувством точно несешь на себе тяжелую ношу, подчас даже с затаенной досадой — углубляешься в чтение этого сборника, а перевернув последнюю страницу, тянет его вновь перечесть.

То, что открывается в этих строчках по первому впечатлению кажется бесформенным и “несделанным”. Точно это собрание необработанных черновиков, набросков, которым еще недостает последней полировки. От стихов остается солоновато-горький привкус, но вопреки этому, мерцание “звезд” продолжает к себе влечь. За тяжеловесной, подчас даже неуклюжей словесной скорлупой, среди косноязычного “безумия” (без примеси которого едва-ли существует поэзия) ощущается присутствие подлинного “ядра”, которое непременно хочется разгрызть.

Есть поэты, которых воспринимаешь сразу, тотчас фамилиаризируешься с их вдохновением, знаешь куда они ведут — их маршруты не таят неожиданностей. Не таков Мамченко. Он никогда не станет “своим” — он труден, обрывист, эзотеричен, перегружен мыслями незавершенными, желаниями невоплощаемыми, противоречиями несочетаемыми. Лирика его сплошь

построена на синкопах — и ритмических, и смысловых.

Правда, после “Тяжелых Птиц”, первого его сборника, стал он теперь уже более проясненным и стих его ажурнее. В нем примечается даже инстинктивная — может быть, еще неосознанная — тяга к “прекрасной ясности”, но, вероятно, до нее он никогда не доберется. Да и стоит ли пожелать ему обрести ее? Едва-ли он когда-либо сможет отыскать в неполных наших словарях готовые слова для всего того, что он тщится выразить с такой щемящей болезненностью. А нежность, глубокая внутренняя нежность и страх перед равнодушным, перед целой гаммой “равнодуший” (кажется, самый сильный из всех его многочисленных “страхов”) — и без того сквозят с каждой страницы его книги.

“Я птицу дикую поймал в лесу” думает он. Нет, нет и нет: — пойманным оказался он сам. Он и “поет не то, что мы без сна поем”, потому-что “Звезды в аду” от начала до конца написаны в страдательном залого.

...“Мысль подняться хочет и не может” — Икар с обожженными крыльями льнет к земле и все-же продолжает петь в своей муке. Таков образ поэзии Мамченко, которую так трудно определить формулой краткой и штампованной.

“...Печальная птица
Бескрыло привжалась к холодной
земле...”

В России после бурь военных выходит тоже немало поэтических сборников.

Два поэта из числа наиболее заслуженных, два поэта — “орденоносца”, удостоившиеся высшей литературной награды Советского Союза — сталинской премии, Симонов и Антокольский, выпустили недавно по тому “избранных стихов”, как бы подводя итоги своему стихотворному творчеству.

Заглядываешь в эти сборники и сразу открывается перед нами иной, совершенно иной, мир поэзии, который прежде всего поражает читателя искусственного — своей двухмерностью. Все здесь в одной плоскости, все односмысленно — за сеткой этих черных по белому напечатанных типографских знаков, отсутствует биение поэтического пульса. Доступность образов и слов порой подчеркнуты, но за этими образами, за этими словами нет больше ничего, никакой отдушины, никакой щели, в которую поэт мог бы упрятать неизбежную недосказанность, то интимно “свое”, что собственно и дает поэзии право на существование.

Отдельные строфы и строки попадают свежее, значительные, поэтические в лучшем значении слова; напряженность трактуемой темы несомненно способна вызывать волнение, но *магия* стиха отсутствует.

Становится очевидным, что новая смена советских поэтов также далека от поисков (пусть и беспомощных), от таинственной музыки (часто несовершенной) здешней поэтической школы, как и от тех попыток создания нового метафорического языка или новых ритмов, которые характеризовали когда-то поэзию первых революционных лет,

пытающуюся ломкой классических форм и всевозможными новаторствами, доходившими до трюкажа, идти нога в ногу с бурями эпохи. Какими вдвойне героическими, даже для их хулителей, должны представляться сейчас грубоватые и порой скрипящие строки Маяковского или “литературщина” Есенина на фоне этого поэтического “передвижничества”, рядом со всеми этими новыми “поэтами-бытовиками”, хотя бы бытовиками военными, когда героизм тем может еще как то искупить бедность лирических переживаний.

Вот Константин Симонов. Это поэт, с которым мы успели уже освоиться. Его органическая талантливость неоспорима, как несомненна и его поэтический темперамент. У него подлинный “дар Божий” и большой размах. Он умеет подыскивать нужные, подчас неожиданные слова, убедительные в своей простоте. Есть в нем и какая то природная, черновозная свежесть, а в самой декламативности его стиха таится большая эмоциональная сила. Он с несомненным мастерством использует те средства, которые ему отпущены, но задания, которые он себе ставит, весьма ограничены. По существу то, что он до сих пор создал, талантливое, очень талантливое сырье, некие многострочные “стихи на случай”, экспромты, способные разволновать читателя, так или иначе переживавшего вместе с автором все, что он описывает (а это переживалось миллионами), но поэтическая зрелость в этих “черновиках” им еще не достигнута.

Симонова пытались сравнивать с

“певцом во стане русских воинов”. Такая параллель, конечно, эффектна. Но при внимательном сличении аналогия эта окажется чисто внешней. Да, Жуковский, кажется, под Тарутиным, слагал, прислонясь к лафету, свои патриотические строки, а Симонов в страдные годы исколесил безграничные пространства России, от Баренцова моря до Черного, в танках, в авионах, в подводных лодках. Да, Симонов мог бы перевести на свой собственный язык:

“О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!...”

Но учиться на его творчестве было бы бесполезно: оно ничего не открывает и никакой поэтической дороги не расчищает.

Читая его, кажется, что на этих страницах, действительно, “излито, чем многозвучное сердце полно...”, но высокая роль предтечи ему не по мерке. Симонов часто переключается с Некрасовым, с теми поэтами “гражданской скорби” конца прошлого века, чьи имена у нас уже издавна были в загоне. Пользуется он и частушечным ладом.

В дальнейшем ему придется как то обновлять свои темы, но в новые меха удастся ли ему влить новое вино? Ведь ему, собственно, нечего сказать *стихами*, оттого он рискует, точно понав на круговую дорогу, всякий раз приходить к отправной точке, какова бы ни была при этом та идейная направленность, которой он будет верен в своем поэтическом производстве.

Его стихи, говорят, прошли по

всей Руси “от финских скал до Колхиды”, от передовых позиций до глубоких тылов — их разучивали, твердили... распевали. Это вполне вероятно. Но в этой популярности отчасти приоткрывается их уязвимость. Они черезчур злободневны и не таят в себе дыхания вечности. Большая тема еще не дает большого диапазона.

Вот, это жуткое в своем леденящем реализме “Убей его”, траурно-бравурное “Безыменное поле” (с умышленным переключением на “Ночной смотр”), трогательное, сентиментальное “Жди меня” или хотя бы временно-“классическое” “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...” Кто не знает ныне этих строк, кто не был взволнован ими, читая их впервые? Но они не антологичны, не только по своей технической примитивности, но и потому, что в них нет ничего, кроме того, что дает им их минутную силу: поэтического отголоска на пережитое. Сами по себе эти строки не излучают света. Метеоры, пролетающие с ярчайшим блеском — суждено им потухнуть при соприкосновении со временем. Пройдет год, два, десять и новому поколению эти патетические пьесы покажутся немymi и смогут быть интересными лишь в их историческом аспекте, в той мере, в какой мы сейчас способны еще склоняться над теми из стихов Тютчева, в которых он пытался выразить сущность своего славянофильства.

Однако, если внимательно вчитаться в Симонова, война и все ее ужасы — они как-то на втором плане, они только жуткий фон, де-

корации, которые можно будет своевременно переставить. Его “бред на яву”, соединенный с какой-то глубокой и органической тягой к земле, к поэтическому восприятию пейзажа, чувство природы, все то, что пока гораздо более четко прорисовывается в его прозе, нежели в стихах, служат залогом того, что при наличии известных условий, он сможет дать нечто большее, чем то, что ему до сих пор удавалось. Хотя, вероятно, это большее не принесет ему тех лавров, которые он пожинает сейчас и в которых для всякого поэта скрыто не мало шипов, предельно для него опасных.

Темы Павла Антокольского взяты из того же арсенала. Это — стихи о войне Отечественной. И рядом — более старое — о войне испанской, о распаде и разложении предвоенной ущербной Европы. Но рядом с Симоновым Антокольский кажется тусклым и искусственным. Он гораздо менее талантлив и его надуманность никак не способна трогать читателя. К тому же он много более вульгарен и словарь его из пристрастия к какому то недостижимому поэтическому псевдо-реализму нарочито газетен. Он пишет о “молочах де ла Рока”, о “эс-эсах”, о Риббентропе и Гудерьяне. Он не брезгает рифмовать “вдрызг” с “риском”. Чем то он иногда напоминает позднего Брюсова, замечтавшегося на склоне лет стать самым “современным” из русских поэтов и перелагавшего в вирши коммунике телеграфных агентств.

Так, о Мицкевиче и Пушкине Ан-

токольский способен с вполне серьезным видом писать:

“Как под одним плащом два брата,

Два гения, два демократа,
Сошлись для вечного возврата
У медной статуи Петра...”

не замечая “лебякинскости” подобных строк, хотя он отнюдь не новичек, а поэт опытный, пишущий уже давно и для которого большинство скрытых пружин ремесла не является больше тайной. Но он проходит перед нами с маленькой данью стихотворных фельетонов и только в тридцати-страничной поэме “Сын” уровень его пафоса повышается и за чувствами трагически осиротевшего отца, чувствами, писать о которых нестерпимо трудно (если не быть Виктором Гюго) — есть дуновение поэзии настоящей, хоть и очень негромкой.

Эти две книги крайне типичны для наших дней. На их примере мы лишний раз убеждаемся, что различные русла отечественной поэзии — и там, и здесь — находятся в состоянии обмеления, несмотря на то, что и там, и здесь есть немало одаренных людей, для которых поэзия, может быть, является тайной целью жизни. В нашем поэтическом мире, как некогда в Датском королевстве, видно, не все благополучно. — Далеко не все...

Для тех, кто осведомлен, как сложно издать здесь русскую книгу — вполне очевидно сколько труда и усилий надо было потратить, чтобы выпустить увесистый “Рус-

ский Сборник”, вышедший под знаком двойного юбилейного чествования Бунина и Александра Бенуа. Издателю этой коричневой книги следовало бы выразить “глубокую признательность” за то, что он пробил лед и после долгой и вынужденной спячки решился на столь рискованное во всех смыслах предприятие. Но грустно вместе с тем наблюдать, что из-за предельной невнимательности к книге, как таковой, и отсутствия вкуса, сборник этот внешне напоминает (а это отнюдь не маловажно) те альманахи, которые перед войной печатались где-нибудь в Харбине или других медвежьих углах русского рассеяния.

Поэтический отдел “Русского Сборника”, где на нескольких скучных страницах произведен смотр русским поэтам Парижа может укрепить то впечатление о “парижской школе”, о котором говорилось выше.

Об отдельных вещах таких крупных писателей, как Бунин или Ремизов говорить очень трудно. Все уже давно о них сказано и использованы превосходные степени всех, встречающихся у Далая прилагательных, способные подчеркнуть восторги критика перед рассматриваемым им объектом.

Подлинное положение Бунина в русской литературе тонко и точно обрисовано в вступительной статье Адамовича.

“Зойка и Валерия”, в которой так прелестно изображены подмосковная дача, квартира доктора Данилевского, какие-то исчезаю-

щие из памяти штрихи ушедшей жизни, может кое-кому нравиться меньше других рассказов цикла "Темные аллеи", но отрицать ее чисто художественные достоинства во имя какой-то ханжеской псевдоидеи о засорении нравов, значит отрицать задачи искусства, диктуя ему границы, в которых рано или поздно оно должно будет увянуть.

Непонимание другого рода окружает Ремизова в той линии его творчества, которую можно назвать "камерной". Стало скучным шаблоном упрекать его в том, что он все продолжает рекламировать добрых знакомых, писать о своем доме и своей консервированной и во имя "безобразия" заставляет почтенных сограждан совершать нелепейшие поступки, отдающие каким-то "шокирующим" с ю р р е а л и з м о м. Приходится повторить старую, как мир, истину, что отнюдь не существенно о чем пишет писатель.

В интермеди "Мышкина дудочка", написанной на грани между сном и явью, единственно важное то, что у Ремизова — как всегда — "свой глаз и по глазу слово: находки..." и что на этих страницах ощущим подлинный "встрепет", так переводит он сам понятие «sensibilité nouvelle», говоря о незаслуженно забытом Вельтмане. Колдовские сны Ремизова и его литературные проказы — проекция в какой-то иной мир, мало кому доступный. Мы же привыкли идти проторенной дорожкой. Отсюда и является неувязка между читателем и писателем, в которой тот никак не повинен.

"Цепь" коротких рассказов Тэффи печатается не впервые. Фоном им служит война и ее отражение в большом городе. Говорит она о жалости емкого человеческого сердца. Читатель, однако, предпочитает Тэффи смеющуюся и заражающую его своим смехом. А в "Цепи" все насквозь трагично.

Плавание первого парохода по реке Таре (река эта в Сибири) — сюжет рассказа Пантелеймонова, написанного от лица мальчика, впервые "пораженного чудом мпроздания". Но сделано это так живо, что первое произведение начинающего автора читается с интересом. Несмотря на неизменное присутствие чисто бунинских оборотов и поворотов, порой недоумеваешь техническому мастерству этой "пробы пера". Да ведь, кто не начинал с заимствований?

Непонятно, что из под пера того же автора вышли, напечатанные в конце книги, "Судьбы народов", стилистически неряшливые и неубедительные рассуждения о войне, писавшиеся в безвоздушности кабинета и ничего общего ни с философией войны, ни с ее реальностью не имеющие. Эти страницы явно надуманы для нового обоснования какого-то очень не нового положения, но они расцвечены такими словесными фиоритурами, что подчас трудно угнаться за течением авторской мысли.

Не приходится сомневаться в его "добрых намерениях", но следовать за ним не под силу. Когда он, например, говорит (в связи с войной в России):

"Особенно ярка в этом смысле

эпопея Сталинграда, где все матерьяльные и моральные силы были сопоставлены до отказа"... не понимаешь, что он хочет выразить.

Возразить мне хотелось бы лишь на одно основное его утверждение. Пантелеймонов пишет: "психика бойца — это уготованность к восприятию смерти". Для человека хоть мало-мальски "понохавшего порох", фраза эта не может не показаться еретичной. "Боец" не может считать себя обреченным (или "уготованным"). Обреченность — несомненный признак слабости. Пренебрежение жизнью, готовность ею пожертвовать нисколько не является синонимом "уготованности к восприятию смерти" и, думается, что армия готовая к смерти — армия заранее обреченная.

На основании маленького личного опыта, хотел бы еще добавить, что и во французской армии по отношению к немцу, к врагу, почти всегда говорилось «Ils» (во всяком случае много чаще, чем всякие уничижительные «Boches», «Fritz» и т. д.) и едва-ли это "он" о враге является специфически русской особенностью, как предполагает в своей наивности автор статьи.

Странно, что для того, чтобы заниматься, скажем, ботаникой — люди считают, что сперва нужно кончить какой-то факультет, а чтобы заниматься публицистикой или "философией" достаточно иметь письменный стол.

«Quo vadis» надолго убил роман из античной жизни. Надо воз-

дать должное Ладинскому, не убожавшемуся вернуться к этой неизменно трудной и опасной для художника теме. Проза поэта блистательна, но в этом отчасти и таится главный ее недостаток.

Зуров вновь печатает отрывок из большого исторического полотна. По некоторым деталям его "Астории", описанию Петрограда в предкорниловские дни, можно заранее предвидеть интерес, который вызовет явление его романа, не только обильно документированного, но и тщательно продуманного, как бы ни была сейчас далека от нас описываемая им эпоха.

О том, какой всесторонне талантливый человек — Ал. Бенца свидетельствуют отрывки его воспоминаний. Жалко, что в статьях, ему посвященных, недостаточно выпукло обрисована его фигура, как деятеля театрального и как некоего закурлисного "министра искусств" предреволюционной России. Одна из его основных заслуг именно в роли водителя нашей художественной культуры и открывателя забытого прошлого русской живописи. Ведь сам "Мир Искусства" — его детище, имевший такое огромное значение в развитии русского искусства — не выдержал экзамена времени.

Хотелось бы еще в заключение отметить оптимистическую статью Н. Бердяева о духовном пробуждении, которое предстоит в результате социальных переворотов. О ней следовало бы поговорить более детально, но это уже роль социолога или философа.

А. ШАЙКЕВИЧ

МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМ БАЛЕТЕ

В эру торжества классического балета в России, в славную эпоху диктаторства Мариуса Петипа, знатные и чопорные петербургские балетоманы, по десятку раз перевидавшие “Дочь Фараона”, “Эсмеральду”, “Корсара” или “Пахиту”, редко когда пленялись мыслью углубиться в чтение Новерровских “Писем о Танце”, или воскресить в памяти своей восторженные повествования их отцов о триумфах на берегах Невы Марии Гальони. Отсутствовали у них также и, ныне столь часто встречающиеся, коллекционерские восторги, когда у бубинистов им под-руки попадались от времени пожелтевшие гравюры или литографии, изображавшие бога танца Вестриса, легендарную Фанни Эльсер, сумевшую вознести тривиальную качучу до пластического откровения или даже Пушкиным воспетую Истомину.

Во фраках и золотом расшитых мундирах они все, по общему правилу, принадлежали к родовой или финансовой знати, к цвету гвардейского офицерства, и немало были бы удивлены, если бы их соседом по креслу или по ложе оказался представитель либеральной профессии: писатель, ученый, адвокат, земский деятель или врач.

Иначе все это нам представляется сейчас на балетных премьерах Парижской Оперы или театра Елисейских Полей. В антрактах, в фойе слышатся оживленные споры, но уже не как в былое время,—о техни-

ческой виртуозности прима-балерины, не о количестве и четкости антрепассиссов, исполненных ее кавалером в сольной его вариации, и даже не о созвучности мимической их обоих, экспрессии с дансанными модуляциями Минкуса, Пунни или Дриго, а о том, уловил ли и передал ли балетмейстер идеологический пафос Бетховенской симфонии, удалось ли художнику отразить в кубистических декорациях своих мифологический мотив Орфея и Евридики, и воскресил ли в венецианские костюмы наряженный кордебалет марионеточную манерность Комедии дель Арте.

Как-то уж очень для старых балетоманов неожиданно и внезапно балет, из внешне-красивого и чувственные вождения разжигающего зрелища, превратился в пластическую мистерию, вероятно очень сходную с теми легендарными созданиями Сальватора Витано, которые Стендаль некогда сближал с трагедиями Шекспира.

Вся эта, на первый взгляд смущающая, эволюция балетного искусства целиком обязана своим происхождением Дягилеву.

Роль его в этом направлении слишком всем хорошо известна, чтобы долго на ней останавливаться. Но все же необходимо лишний раз здесь напомнить, что после триумфов “Шехеразады”, “Сильфид”, “Петрушки” и “Половецких плясок”, с необычайной пышностью им в Лондоне воскрешенная “Спящая красавица” чуть ли не привела к крушению всей его антрепризы, повлекла за собой опись костюмов и

декораций и заставила этого пламенного энтузиаста балета усомниться в правдивости и мудрости гордых академических канонов.

Лишь после его смерти та же “Спящая красавица” оказалась вознесенной на всех мировых балетных сценах до того апофеозного торжества, до которого она не доходила даже на ее премьере в Мариинском театре 3-I-1890 года.

Не следует поэтому удивляться, что в России А. Волынский, а за рубежом А. Левинсон, оба культурные, передовые и восторженные идеологи балета, нещадно в своих писаниях ополчились на все, что Дягилевым, во имя новизны и пластической выразительности, было искажено в незыблемых академических традициях. Оба они словно сговорились не примечать, что, не смотря на подчас вредоносные заблуждения того же Дягилева, лишь ему одному удалось в целом мире воскресить уже начавший увядать интерес к танцевальному искусству.

Лишь сейчас, после долголетней лабораторной работы, его художественная интуиция оправдалась, и лишь сейчас современные балетоманы, столь отличные от абонентов Мариинского театра, в праве, как будто утверждать, что балет вознесен над всеми другими отраслями сценического искусства.

Посвятим же несколько строк этому историческому процессу.

Совсем недавно мы пленялись виртуозным эпигонством самых по всему миру прославленных и тем же Дягилевым к исполнению их художественной миссии призванных хо-

реграфов: Мясина, Нижинской и Балалчина.

Все трое они, несомненно, обладают чеканным мастерством, искрящейся фантазией и творческим энтузиазмом, но все трое они, в первую голову, устремлены к повышению действенности гластической гармонии или диссонансов в создаваемых ими балетах, а потому ошеломляя и пленяя зрителя причудливой новизной формы, они очень часто пренебрегают той первичной основой исповедуемого ими искусства, которая именуется душевной элевацией.

Рассудочно, они все, конечно, должны были понять, что эра фейных сказок для балетных либретто навсегда миновала, что партитуры Делиба или Дриго недостаточно патетичны для вознесения динамической балетной выразительности до мифологического просветления, но эмоционально они все же продолжали довольствоваться облечением в балетное трико танцовщиков, вдохновленных седьмой Бетховенской симфонией. И так произошло, что герою этой симфонии, несмотря на трубные угрозы разбушевавшегося оркестра, по мимируемым им эмоциям мало чем отличались от принцев-шарманов “Раймонды” или “Пахиты”.

Несомненно, что после целого ряда этих, не всегда убедительных, опытов, форма обогащалась, и многие пластические удаchi бывали обретаемы, но одновременно отсутствие у хореографа эмоциональной задушевности фатально приводило к тому, что зритель в открывающемся его глазам зрелище не узревал больше того лучистого обаяния, ко-

торое так ярко излучалось от Отти-
лии в "Лебедином Озере", а пото-
му он никак не мог уловить в наря-
женных в балетное трико Гамле-
тах, Францисках Ассизских и Апол-
лонах метафизических запросов
Датского принца, религиозного
экстаза Умбрии или царящего на
Парнассе мифологического просвет-
ления.

Справедливость, правда, требует
признать несомненную удачу дру-
гих их, менее претенциозных и в
метафизические высоты не устрем-
ленных созданий, какими являют-
ся, например, "Голубой Дунай",
"Заколдованная Лавочка", "Козо-
чки", "Свадебка" или "Бал". Но и
во всех этих, могущих к шедеврам
современного балета быть отнесен-
ными, постановках мы не можем
уловить ничего, что бы идейно или
эмоционально было вознесено над
академическими балетами Перро или
Петяпа.

Короче говоря, основной художе-
ственный грех Дягилева, заключаю-
щийся в торжестве формы над со-
держанием и в отрешении балета от
эмоционального пафоса, подчас да-
же доводил балетмейстера до кошун-
ственного искажения тех идеологи-
ческих проблем, которые компози-
тор вкладывал в основу своей, ба-
лет долженствующей иллюстриро-
вать, партитуры.

Так, трудно даже себе предста-
вить нечто менее созвучное мелан-
холической задумчивости 5-ой сим-
фонии Чайковского, чем то мелодра-
матическое метание по, багровым за-
ревом озаренной, сцене роковой
судьбы, которое Мясин запечатлел
в своем балете.

Необычайно досадно отмечать эти

художественные промахи в хоре-
графе исключительно одаренном и в
танцовщице необычайно ярком, тем-
пераментном и совершенном, как
только дело коснется стильных или
характерных танцев.

Нижинская несомненно индиви-
дуальнее Мясина, она необычайно
остра в пластических своих интуи-
циях и поджупает новизной и свеже-
стью своих, часто парадоксальных,
но пластически совершенных, компо-
зиций.

Что касается Баланчина, то он
несомненно из всех трех наиболее
романтичен и задушевен. К сожа-
лению, он, подобно Фокину, пре-
льщен лирикой пассивной, созерца-
тельной и сладкозвучной, а потому
далек от трагической экзальтиро-
ванности, некогда возвеличившей
Вигано или увековечившей второй
акт "Жизели" метительным волхво-
ванием душой осяянных виллис.

Особняком от всех них стоит са-
мый юный из Дягилевым взрощен-
ных хореграфов — Лифарь.

С необычайной последовательно-
стью и в то же время без какой ли-
бо предвзятой эстетической идеи, он
все свои балеты насыщает мифоло-
гическим пафосом.

От "Прометея" до "Песни Пес-
ней", от "Икара" до "Александра
Великого", герои его балетов не
только вертят туры, ошеломляют
своими заносками и соперничают
друг с другом в пируэтах, но еще
живут на сцене, страдают, любят и
гибнут, не как балетные принцы-
шармаши, а как на котурны возне-
сенные античные мимы.

Те, которые его искусство оспа-
ривают, ставят ему именно эту экс-
прессию в вину, голословно ут-

верждая, что он ею маскирует недостаток своей академической виртуозности. Упрек несправедливый, в разрез идущий с авторитетными суждениями славных учителей его, Чеккетти и Легата.

Неужели, спросим мы в ответ, этих упреков никогда не слышавший Перетти, художественнее и правдивее в "Жизели", чем Лифарь?

В свое время Коммиссаржевская часто повторяла мне, что главное ее внимание обращено было на борьбу с технической профессиональной виртуозностью. "Стоит только на мгновение отдалиться ее соблазну и забыть себя, — говорила она, — чтобы рутинная взяла верх над вдохновением, и тогда я на сцене чувствовала себя столь же мертвой, случайной и затерянной, как когда на первой репетиции я по начисто переписанной тетрадке читала свою новую роль".

Мне лично всегда казалось, что Лифарь — явление единичное и случайное, что его дарование замкнуто в только ему одному присущей эмоциональности, и что он поэтому не может сотворить школы, как ее до него создавали академические мастера балета.

Сейчас, получив возможность присутствовать на репетициях последнего его балета "Шота Руставели", в возглавляемых им новых "Монте-Карловских Балетах", я убедился, что целая плеяда юных танцовщиц и танцовщиков с необычайной, восторженной легкостью схватывает его, казалось бы, самые индивидуальные приемы и с поистине смущающим проникновением начинает усваивать новые, им испо-

ведуемые каноны "нео-классицизма".

Он, этот сейчас столь многих смущающий, восторги и резкие полемики рождающий, нео-классицизм, — явление не внезапное, не произвольное, а глубоко слитое со всей эстетической эволюцией, уже происшедшей в других областях искусства.

Не мог, конечно, балет остаться закованным в свою академическую рутину, когда живопись пленяется стала мистическими зовами сюрреализма, а музыка вознеслась до экзальтированных мечтаний об атональности.

Пикассо, Брак, Дали, Стравинский, Гиндемит, Бела Барток должны были, по органической правдивости художественных прозрений своих, найти и в балете нечто их новоявленной эстетике созвучное, волнуемое и живое.

Итак произошло, что и в балете опрокинулись, казалось бы, нетленные каноны академической традиции.

Нога, на которой колеблется застывшее в арабеске тело танцовщицы, сейчас не обязательно стоит под прямым углом, а намечает угол тупой или острый, руки отклоняются от пяти, Новерром завещанных, позиций, па-де-де отрешается от пластической гармонии и строится на линейном диссонансе, а финальные позы не знаменуют танцовального апофеоза, а как бы символизировать возможность дальнейшего движения, лишь случайно и произвольно, волей хореографа, прерванного.

Эта пластическая деформация, однако-же, не самоцельна, каковы-

ми являлись эстетические веления академических мастеров, а вся педиком устремлена к нюансировке мотивов психологических. Вот почему изображение чувств влюбленности, ревности, страдания или лжованиа дарит современным танцовщикам гораздо большее количество экспрессивных возможностей, чем это предоставлял Авроре в "Спящей красавице" Мариус Петипа.

Этот, нео-классицизм Сергеем Лифарем окрещенный, художественный метод эпизодически и интуитивно намечался уже и у тех же Мясина, Нижинской и Баланчина.

В "Оде", в "Козочках", в "Кощеечке", в "Свадебке" и в "Бале" зритель часто бывал смущаем пластическими намеками, для его глаза непривычными и как будто что-то совершенно новое и волнующее вещающими; но все они так же быстро меркли, как вспыхивали, ибо рождались не из творческого идеологического кредо балетмейстера, а из изощренности его профессионального мастерства, имеющего целью создать что-то по линейному контуру новое, необычное и никем ранее никогда не использованное.

Лифарь эти эпизодические удачи обобщил, углубил, расширил и спаял их с тем эмоциональным пафосом, который всегда присущ был избираемым им патетическим сценариям.

После ряда первичных, как-бы лабораторных, опытов, всегда удачных и волнующих, он, наконец, создает свои два монументальные балета: «Dramma per musica» и "Шота Руставели". Оба они эсте-

тическую теорию перевоплощают в сценическое достижение.

Нео-классицизм в них уже не случайный формальный эпизод, а всю ткань балета пронизывающий лейт-мотив, столь же волнующий и умиляющий, как тот, что столетие тому назад, лунным сиянием озарил второй акт "Жизели".

Было бы, однако, ошибочно предполагать, что этим внешним преобразованием формы исчерпывается творческий подвиг Лифаря.

Поставленный им 4-актный, три часа длящийся, "Шота Руставели" весь насыщен контрастами светотени и, быть может, впервые в истории современного балета, перевоплощает отвлеченную выразительность человеческого тела в немые монологи и диалоги, столь же патетичные и страстные, как вдохновившие балетмейстера строфы грузинского национального поэта XII-го века.

А в результате получилось, что присутствовавшая на премьере балета грузинская делегация, которая навзгусть знала каждую строку положенной в основу балета поэмы, так же, как и те зрители, которые впервые на программе прочли экзотически для них звучащее имя автора "Героя в барсовой шкуре", с одинаковым трепетом следили за появлением на сцене иконописной, легендой овеянной Царицы Тамары, за волхвованием вещей и роковой птицы, символизирующей музу поэта, и за торжеством героического подвига того, казалось бы судьбой обреченного, героя поэмы, в котором Шота Руставели стремился отобразить самого себя.

Рядом с этим смущающим и монументальным достижением, от всех земных страстей отрешенные Кантаты Баха вдохновили Лифаря на многоголосую хореографическую фугу в которой торжественные и ликующие модуляции патетической партитуры не менее динамично и задушевно слетают ритмические движения друг к другу льнущих танцующих тел, чем делали это свистульки и трещотки перкуссионного оркестра в том же, Лифарем сотворенном, "Икаре".

Вот почему присутствовавший на этих премьерях в Монте-Карло зритель никак не мог освоить мысли, что открывающееся его глазам зрелище так же зовется балетом, как недавно в Парижской Опере им виденная кукольная, фарфоровая "Копшелия".

ГАЛА БАЛЕТНЫХ ЭТУАДЕЙ

Все то, что теоретически намечено было в моей статье, внезапно и неожиданно озарилось 25 ноября 1946 рамной, которая своим сиянием ослепила не тихо над книгой склонившегося читателя, а восторженно и шумно аплодирующего и по балетам даримым истосковавшегося зрителя.

Он был обласкан и утешен этот балетоман 1946 года, он сразу же позабыл все то рутинное, затхлое и душевного взлета лишнее, что до сего дня еще продолжает пленять "старых абонентов" Парижской Национальной Оперы.

Столь же внезапно он осознал, что не в пышном цветении белого кордебалета, не в трубных призы-

вах разбушевавшегося оркестра и не в феерии глаз завораживающих декораций следует искать причину всевластного обаяния балетного зрелища, а в торжестве индивидуальной, творческой воли и в припадении немому, танцующему телу той драматической экспрессии, которая некогда вознесла Тальони, Павлову и Спесивцеву, до художественного уровня Рашель, Сары Бернар и Дюзе.

Короче говоря, после эпизодического и судьбы балета ущемившего исчезновения Лифаря со сцены, он на ней вновь появился, рампой озаренный. Ничего нового, ранее невиданного, сложного и с теперешними его творческими устремлениями слитого, он на этом спектакле показать, однако, не пожелал. В программу включен был лишь фрагмент классических балетных шедевров, которые переплетались с отрывками из собственных его созданий.

Каждый из них был предназначен другой балерине к исполнению. В финальной группе все они цветочной гирляндой обвились вокруг взволновавшего их хореографа.

Независимо от личного их темперамента, от технической их виртуозности и от тембра их дарований, они все, в течении спектакля слились с Лифарем в одно неразрывное художественное целое, независимо от того, пленяла ли зрителя фантастика русских феиных сказок в па-де-де из "Лебединого Озера", лунная романтика "Жизели" или вещая птица из "Шота Руставели", вдохновляющая втязья-поэта на подвиг.

Различные, друг от друга от-

стоящие эпохи сближались, увядающая эстетика одних уступала место эстетике, ей на смену приходившей и зачарованный зритель не знал, что ему заветнее, желаннее и милее из всех этих на темном бархате вспыхивающих видений. Над всеми ними реял, словно из бронзы вычеканенный сидит принца шармана новой формации. Отойдя от рутинного, академического шаблона оперности, он внезапно начал казаться живым, человеческим, то скорбным, то ликующим.

Балерин семь — он один. Но зрителю порою начинает казаться, что и кавалеров семь, настолько каждое, Лифарем творимое пластическое преобразование, отлично от того, что мгновение тому назад погребено было складками ниспадающего занавеса. Семь славных, в историю современной хореграфии занесенных имен, значилось на программе: Шовира, Шварц, Шарра, Адабаш, Черина, Какмэр и Лиевр.

Издатели: Ю. ОДАРЧЕНКО и А. ШАЙКЕВИЧ.

